БАХТИН

ПОД МАСКОЙ

3

УЧЕНИЕ МАРКСА ВСЕСИЛЬНО, ПОТОМУ-ЧТО ОНО ВЕРНО

И перья страуса склонённые
В моём качаются мозгу,
И очи синие бездонные
Цветут на дальнем берегу

ЛАБИРИНТ



МАСКА ТРЕТЬЯ

В. Н. ВОЛОШИНОВ

МАРКСИЗМ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

ЛАБИРИНТ

ВОЛОШИНОВ В. Н. (М. М. Бахтин). Марксизм и философия языка: Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Комментарии В. Махлина. «Лабиринт», 1993 г.

Серия книг «Бахтин под маской» выходит под общей редакцией И. Пешкова.

Художник И. Смирнова.

Редактор Г. Шелогурова.

ISBN 5-87604-016-9

Эта книга — самая читаемая из сокрытых под маской текстов М. М. Бахтина — в контексте трилогии высвечивается совершенно по-новому, а вместе еще и с «Проблемами творчества Достоевского» составляет единый комплекс, ради появления которого стоило издаваться и под маской, и без маски, подписываясь или не подписываясь. Хотя подпись, как известно, всегда стоит в конце произведения...

Издательство «Лабиринт»: 103045, Москва, Последний переулок, дом 23, строение 3 (второй этаж); тел. 207-19-22.

ОГЛАВЛЕНИЕ

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

Пути марксистской философии языка

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

К истории форм высказывания в конструкциях языка

(Опыт применения социологического метода к проблемам синтаксиса)

«БАХТИН под маской»
Выпуск 3.
Издательство «Лабиринт»

ВВЕДЕНИЕ

До сих пор по философии языка нет еще ни одной марксистской работы. Более того, нет сколько-нибудь определенных и развитых высказываний о языке в марксистских работах, посвященных иным, близким темам[1]. Вполне понятно, что наша работа, являющаяся, в сущности, первой, может ставить себе лишь самые скромные задачи. Не может быть и речи о сколько-нибудь систематическом и законченном марксистском анализе хотя бы основных проблем философии языка. Такой анализ мог быть продуктом лишь длительной и коллективной работы. Мы же должны были ограничиться скромной задачей наметить лишь *основное направление* подлинно марксистского мышления о языке и те *опорные методологические пункты*, на которые должно опираться это мышление в подходе к конкретным проблемам лингвистики.

Наша задача осложнилась особенно тем, что в марксистской литературе нет еще законченного и общепризнанного определения специфической действительности идеологических явлений[2]. В большинстве случаев их понимают как явления сознания, т. е. психологистически. Такое понимание в высшей степени препятствовало правильному подходу к специфическим особенностям идеологических явлений, которые отнюдь не могут быть сведены к особенностям субъективного сознания

[1] Единственная марксистская работа, касающаяся языка, — недавно вышедшая книжка И. Презента «Происхождение речи и мышления» (1928 г., Прибой), — в сущности, к философии языка имеет очень мало отношения. В книге рассматриваются проблемы генезиса речи и мышления, причем под речью подразумевается вовсе не язык как определенная специфическая идеологическая система, а «сигнал» в рефлексологическом понимании. Язык как специфическое явление ни в коем случае не может быть сведен к сигналу, и потому исследования И. Презента языка вовсе не задевают. От них нет прямого пути к конкретным вопросам лингвистики и философии языка.

[2] Основоположниками марксизма дано определение места идеологии в единстве социальной жизни: идеология как надстройка, отношение надстройки к базису и т. д. Что же касается до вопросов, связанных с материалом идеологического творчества и с условиями идеологического общения, то эти вопросы, второстепенные для общей теории исторического материализма, не получили конкретного и законченного разрешения.

и психики. Поэтому-то и роль языка как специфической материальной действительности идеологического творчества не могла быть в достаточной степени оценена.

К этому нужно прибавить, что во всех тех областях, до которых слабо или совсем не коснулась рука основоположников — Маркса и Энгельса, — прочно засели механистические категории. Все эти области в основном находятся еще на стадии до-диалектического механического материализма. Это находит свое выражение в том, что во всех областях науки об идеологии до сих пор господствует категория механистической каузальности. Рядом с этим не изжито еще позитивистическое понимание эмпирики, преклонение перед «фактом», понятым не диалектически, а как что-то незыблемое и устойчивое[1]. Философский дух марксизма еще почти не проникал в в эти области.

Вследствие указанных причин мы оказались в области философии языка почти без всякой возможности опереться на какие-нибудь вполне определенные положительные достижения в области других наук об идеологиях. Даже литературоведение, благодаря Плеханову наиболее разработанная область этих наук, почти ничего не могло дать нам для нашей темы.

Предлагаемая нами работа в основном преследует чисто исследовательские цели, однако мы постарались придать ей возможно популярный характер[2].

В первой части работы мы пытаемся обосновать значение проблем философии языка для марксизма в его целом. Это значение, как мы сказали, далеко не оценено еще в достаточной степени. Между тем, *проблемы философии языка находятся на стыке ряда важнейших областей марксистского мировоззрения,* притом таких, которые в настоящее время пользуются широким вниманием нашей общественности[3].

К этому необходимо прибавить, что в самое последнее время, как в Западной Европе, так и у нас в СССР[4], проблемы философии языка приобретают необычайную остроту и принципиальность. Можно сказать, что современная буржуазная

---

[1] Позитивизм, в сущности, является перенесением основных категорий и навыков субстанциалистического мышления из области «сущностей», «идей», «общего» — в область единичных фактов.

[2] Конечно, кроме общемарксистской подготовки от читателя требуется знакомство хотя бы с основами лингвистики.

[3] Вопросы литературоведения, вопросы психологии.

[4] Однако, отнюдь не в марксистских кругах. Мы имеем в виду пробуждение интереса к слову, вызванное «формалистами», а также такие явления, как книги Г. Шпета («Эстетические фрагменты»; «Внутренняя форма слова»), и, наконец, книгу Лосева («Философия имени»).

философия начинает развиваться под *знаком слова*, причем это новое направление философской мысли Запада находится еще в своем начале. Идет оживленная борьба вокруг «слова» и его систематического места, борьба, аналогию которой можно найти только в средневековых спорах реализма, номинализма и концептуализма. И действительно, традиции этих философских направлений средневековья начинают до известной степени оживляться в реализме феноменологов и концептуализме неокантианцев.

В самой лингвистике, после позитивистической боязни всякой принципиальности в постановке научных проблем и характерной для позднейшего позитивизма враждебности ко всем запросам миросозерцания, пробудилось обостренное осознание своих общефилософских предпосылок и своих связей с другими областями знания. В связи с этим появилось ощущение кризиса, переживаемого лингвистикой, неспособной удовлетворить всем этим запросам.

Показать место проблем философии языка в единстве марксистского миросозерцания — является задачей первой части. Поэтому первая часть ничего не доказывает и не дает никаких законченных решений выдвигаемых вопросов: в ней нас интересуют не столько связи между явлениями, сколько связи между проблемами.

Вторая часть пытается разрешить основную проблему философии языка, проблему *реальной данности языковых явлений*. Эта проблема является той осью, вокруг которой вращаются все главнейшие вопросы философско-лингвистической мысли нового времени. Такие основные проблемы, как проблема *становления языка*, проблема *речевого взаимодействия*, проблема *понимания*, проблема *значения* и другие сходятся к ней как к своему центру. Конечно, в разрешении самой проблемы мы могли наметить лишь основные пути. Целый ряд вопросов остается едва затронутым; целый ряд нитей, намеченных в изложении, остается не прослеженным до конца. Но иначе и быть не могло в небольшой книжке, чуть ли не впервые пытающейся подойти с марксистской точки зрения к этим проблемам.

Последняя часть работы является конкретным исследованием одного из вопросов синтаксиса. Основная идея всей нашей работы — *продуктивная роль и социальная природа высказывания* — нуждается в конкретизации: необходимо показать ее значение не только в плане общего мировоззрения и принципиальных вопросов философии языка, но и в частных и частнейших вопросах языкознания. Ведь если идея верна и

продуктивна, то эта продуктивность ее должна обнаруживаться сверху донизу. Но и сама по себе тема третьей части — *проблема чужого высказывания* — имеет большое значение, выходящее далеко за пределы синтаксиса. Ведь целый ряд важнейших литературных явлений — *речь героя* (вообще построение героя), *сказ, стилизация, пародия,* —являются лишь различными преломлениями *«чужой речи»*. Понимание этой речи и управляющей ею социологической закономерности является необходимым условием продуктивной разработки всех перечисленных нами литературных явлений[1].

Кроме того, самый вопрос третьей части в русской лингвистической литературе совершенно не разработан. Так, явление *несобственной прямой речи в русском языке* (уже у Пушкина) еще никем не было указано и описано. Совершенно еще не исследованы многообразнейшие модификации прямой и косвенной речи.

Таким образом, наша работа движется в направлении от общего и абстрактного к частному и конкретному: от общефилософских вопросов мы переходим к вопросам общелингвистическим и от них уже к более специальному вопросу, лежащему на границе грамматики (синтаксиса) и стилистики.

[1] Как известно, эти именно явления в настоящее время привлекают внимание литературоведов. Конечно, для полного понимания всех этих перечисленных нами явлений необходимо применение еще и иных точек зрения. Однако без анализа форм передачи чужой речи никакая продуктивная работа здесь невозможна.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА ДЛЯ МАРКСИЗМА

Глава I

НАУКА ОБ ИДЕОЛОГИЯХ И ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА

Проблема идеологического знака. Идеологический знак и сознание. Слово как идеологический знак par exellence. Идеологическая нейтральность слова. Способность слова быть внутренним знаком. Итоги.

Проблемы философии языка приобретают для марксизма в настоящее время исключительную актуальность и важность. На целом ряде важнейших боевых участков научной работы марксистский метод упирается именно в эти проблемы и не может вести дальнейшего продуктивного наступления, не подвергнув их самостоятельному рассмотрению и разрешению.

Прежде всего самые основы марксистской науки об идеологическом творчестве: основы науковедения, литературоведения, религиоведения, науки о морали и пр. — теснейшим образом сплетены с проблемами философии языка.

Всякий идеологический продукт является не только частью действительности — природной и социальной — как физическое тело, орудие производства или продукт потребления, но, кроме того, в отличие от перечисленных явлений, отражает и преломляет другую, вне его находящуюся действительность. Все идеологическое обладает *значением:* оно представляет, изображает, замещает нечто вне его находящееся, т. е. является *знаком. Где нет знака — там нет и идеологии.* Физическое тело, так сказать, равно себе самому,— оно ничего не означает, всецело совпадая со своей природной единичной данностью. Здесь не приходится говорить об идеологии.

Но любое физическое тело можно воспринять как образ чего-нибудь, скажем, как воплощение в данной единичной вещи природной косности и необходимости. Такой художественно-символический образ данной физической вещи является уже идеологическим продуктом. Физическая вещь превращена в знак. Не переставая быть частью материальной действительности, такая вещь известным образом отражает и преломляет другую действительность.

То же самое справедливо и относительно любого орудия производства. Орудие производства само по себе лишено значения, ему принадлежит лишь определенное назначение: служить той или иной производственной цели. Орудие служит этой цели как данная единичная вещь, ничего не отражая и не

замещая. Но и орудие производства можно превратить в идеологический знак. Таковы серп и молот в нашем гербе; здесь им принадлежит уже чисто идеологическое значение. Можно также идеологически разукрасить орудие производства. Так уже орудия первобытного человека покрыты изображениями или орнаментами, т. е. покрыты знаками. Само орудие при этом, конечно, не становится знаком.

Можно, далее, орудию производства придать художественную завершенность формы, притом так, что это художественное оформление будет гармонически сочетаться с целевым производственным назначением орудия. В этом случае происходит как бы максимальное сближение, почти слияние знака с орудием производства. Но все же и здесь мы замечаем отчетливую смысловую границу: орудие как такое не становится знаком, и знак как такой не становится орудием производства.

Также и продукт потребления можно сделать идеологическим знаком. Например, хлеб и вино становятся религиозными символами в христианском таинстве причащения. Но продукт потребления как такой отнюдь не является знаком. Продукты потребления можно, как и орудия, соединить с идеологическими знаками, но при этом соединении не стирается отчетливая смысловая граница между ними. Так, хлеб выпекается в определенной форме, и эта форма отнюдь не оправдывается только потребительским назначением хлеба, но имеет и некоторое, пусть примитивное, знаковое идеологическое значение (например, форма кренделя или розанчика).

Таким образом, рядом с природными явлениями, предметами техники и продуктами потребления существует особый мир — *мир знаков.*

Знаки также — единичные материальные вещи, и, как мы видели, любая вещь природы, техники или потребления может сделаться знаком, но при этом она приобретает значение, выходящее за пределы ее единичной данности. Знак не просто существует как часть действительности, но отражает и преломляет другую действительность, поэтому-то он может искажать эту действительность или быть верным ей, воспринимать ее под определенным углом зрения и т. п. Ко всякому знаку приложимы критерии идеологической оценки (ложь, истина, правильность, справедливость, добро и пр.). Область идеологии совпадает с областью знаков. Между ними можно поставить знак равенства. Где знак — там и идеология. *Всему идеологическому принадлежит знаковое значение.*

Внутри самой области знаков, т. е. внутри идеологической сферы, существуют глубокие различия: ведь сюда входят и художественный образ, и религиозный символ, и научная формула, и правовая норма и т. д. Каждая область идеологического творчества по-своему ориентируется в действительности и по-своему ее преломляет. Каждой области принадлежит своя особая функция в единстве социальной жизни. Но *знаковый характер является общим определением всех идеологических явлений.*

Всякий идеологический знак является не только отражением, тенью действительности, но и материальной частью самой этой действительности. Всякое знаковое идеологическое явление дано в каком-либо материале: в звуке, в физической массе, в цвете, в телесном движении и т. п. В этом отношении действительность знака вполне объективна и поддается единому монистическому объективному методу изучения. Знак — явление внешнего мира. И он сам, и все производимые им эффекты, т. е. те реакции, те действия и те новые знаки, которые он порождает в окружающей социальной среде, протекают во внешнем опыте.

Это положение чрезвычайно важно. Как оно ни элементарно и ни кажется само собой разумеющимся, наука об идеологиях до настоящего времени не делает из него всех соответствующих выводов.

Идеалистическая философия культуры и психологистическое культуроведение помещают идеологию в сознание[1]. Идеология,— утверждают они,— факт сознания. Внешнее тело знака — только оболочка, только техническое средство для реализации внутреннего эффекта — понимания.

Что само понимание может осуществиться тоже только в каком-нибудь знаковом материале (например, во внутренней речи) — упускается из виду как идеализмом, так и психологизмом. Упускается из виду, что знаку противостоит знак, и что само *сознание может реализовать себя и стать действительным фактом лишь в материале знакового воплощения.* Ведь понимание знака есть отнесение данного понимаемого знака к другим, уже знакомым знакам; иными словами, пони-

---

[1] Следует указать, что в современном неокантианстве замечается поворот в этом отношении. Мы имеем в виду последнюю книгу Кассирера: «Philosophie der symbolischen Formen», Т. I, 1923.

Оставаясь на почве сознания, Кассирер считает основною чертою сознания репрезентацию. Каждый элемент сознания нечто представляет, несет символическую функцию. Целое дано в части, а часть понимается лишь в целом. Идея, по Кассиреру, так же чувственна, как и материя, однако эта чувственность — символического знака, она — репрезентативна.

мание отвечает на знак — знаками же. И эта цепь идеологического творчества и понимания, идущая от знака к знаку и к новому знаку — едина и непрерывна: от одного знакового и, следовательно, материального звена мы непрерывно переходим к другому, знаковому же звену. И нигде нет разрывов, нигде цепь не погружается в нематериальное и невоплощенное в знаке внутреннее бытие.

Эта идеологическая цепь протягивается между индивидуальными сознаниями, соединяя их. Ведь знаки возникают только в процессе взаимодействия *между* индивидуальными сознаниями. И само индивидуальное сознание наполнено знаками. Сознание становится сознанием, только наполняясь идеологическим, resp. знаковым содержанием, следовательно, только в процессе социального взаимодействия.

Идеалистическая философия культуры и психологистическое культуроведение, как ни глубоки методологические различия между этими двумя направлениями, совершают одну и ту же коренную ошибку. Локализуя идеологию в сознании, они превращают науку об идеологиях в науку о сознании и его законах, все равно, трансцендентальных или эмпирикопсихологических.

Благодаря этому возникает как коренное искажение самой изучаемой действительности, так и методологическая путаница во взаимоотношениях отдельных областей знания. Идеологическое творчество — материальный и социальный факт — втискивается в рамки индивидуального сознания. С другой стороны само индивидуальное сознание лишается всякой опоры в действительности. Оно становится или всем, или ничем.

В идеализме оно становится всем, помещается где-то над бытием, определяя его. На самом же деле, этот властелин вселенной является в идеализме лишь гипостазированием абстрактной связи между самыми общими формами и категориями идеологического творчества.

Для психологического позитивизма, наоборот, сознание оказывается ничем, — совокупностью случайных психофизиологических реакций, в результате которых каким-то чудом получается осмысленное и единое идеологическое творчество.

Объективная социальная закономерность идеологического творчества, ложно истолкованная как закономерность индивидуального сознания, неизбежно должна утратить свое действительное место в бытии, уходя или в надбытийные высоты трансцендентализма, или в досоциальные низины психофизического биологического субъекта.

Но ни из над-, ни из дочеловеческих животных корней идеологическое, как такое, объяснить нельзя. Его действительное место в бытии,— в особом социальном, человеком созданном, *знаковом материале*. Специфичность его именно в том, что он находится между организованными индивидами, что он является средою, medium'ом их общения.

Знак может возникнуть лишь на *междуиндивидуальной территории*, причем эта территория не «природная» в непосредственном смысле этого слова[1]: между двумя homo sapiens знак тоже не возникнет. Необходимо, чтобы два индивида были *социально организованы*,— составляли коллектив: лишь тогда между ними может образоваться знаковая среда. Индивидуальное сознание не только не может здесь ничего объяснить, но, наоборот, оно само нуждается в объяснении из социальной идеологической среды.

Индивидуальное сознание есть социально идеологический факт. До тех пор, пока это положение не будет признано со всеми вытекающими из него следствиями, не сможет быть построена ни объективная психология, ни объективная же наука об идеологиях.

Именно проблема сознания создает главные трудности и порождает глубочайшую путаницу во всех вопросах, связанных как с психологией, так и с наукой об идеологиях. В конце концов сознание стало asylum ignorantiae для всех философских построений. Сознание превратили в склад всех неразрешенных проблем, всех объективно неразложимых остатков. Вместо того, чтобы искать объективного определения сознания, им стали пользоваться для того, чтобы субъективировать и расплавлять все устойчивые объективные определения.

Объективное определение сознания может быть только социологическим. Нельзя выводить сознание непосредственно из природы, как то пытался и пытается сделать наивный механистический материализм и современная объективная психология (биологическая, бихэвиористическая и рефлексологическая). Нельзя идеологию выводить из сознания, как это делает идеализм и психологистический позитивизм. Сознание слагается и осуществляется в знаковом материале, созданном в процессе социального общения организованного коллектива. Индивидуальное сознание питается знаками, вырастает из них, отражает в себе их логику и их закономерность. Логика сознания есть логика идеологического общения, знакового

[1] Общество, конечно, тоже **часть природы**, но только часть, качественно отличная, обладающая своими **специфическими** закономерностями.

взаимодействия коллектива. Если мы лишим сознание его знакового идеологического содержания, от сознания ничего ровно не останется. Сознание может приютиться только в образе, в слове, в значащем жесте и т. п. Вне этого материала остается голый физиологический акт, не освященный сознанием, т. е. не освященный, не истолкованный знаками.

Из всего сказанного нами вытекает следующее методологическое положение: *наука об идеологиях ни в какой степени не зависит от психологии и на нее не опирается.* Наоборот, как мы подробнее увидим в одной из следующих глав, *объективная психология должна опираться на науку об идеологиях.* Действительность идеологических явлений — объективная действительность социальных знаков. Законы этой действительности суть законы знакового общения, определяемые непосредственно всею совокупностью социально-экономических законов. Идеологическая действительность — непосредственная надстройка над экономическим базисом. Индивидуальное сознание — не архитектор идеологической надстройки, а только жилец, приютившийся в социальном здании идеологических знаков.

Отрешив предварительно идеологические явления и их закономерность от индивидуального сознания, мы тем прочнее связали их с условиями и формами социального общения. Действительность знака всецело определяется этим общением. Ведь бытие знака является не чем иным, как материализацией этого общения. Таковы все идеологические знаки.

Но нигде этот знаковый характер и эта сплошная и всесторонняя обусловленность общением не выражена так ярко и полно, как в языке. *Слово — идеологический феномен* par exellence. Вся действительность слова всецело растворяется в его функции быть знаком. В нем нет ничего, что было бы равнодушно к этой функции и не было бы порождено ею. Слово — чистейший и тончайший medium социального общения.

Одна уже эта показательность, репрезентативность слова, как идеологического феномена, исключительная отчетливость его знаковой структуры, была бы достаточна, чтобы выдвинуть слово на первый план науки об идеологиях. Основные общеидеологические формы знакового общения лучше всего могли бы быть раскрыты именно на материале слова.

Но этого еще мало. Слово является не только наиболее показательным и чистым знаком, слово является, кроме того, *нейтральным знаком.* Весь остальной знаковый материал специализован по отдельным областям идеологического творчества. Каждая область обладает своим идеологическим мате-

риалом, формирует свои специфические знаки и символы, в других областях неприменимые. Здесь знак создается специфической идеологической функцией и неотделим от нее. Слово же — нейтрально к специфической, идеологической функции. Оно может нести *любую* идеологическую функцию: научную, эстетическую, моральную, религиозную.

Кроме того, существует громадная область идеологического общения, которая не поддается приурочиванию к какой-либо идеологической сфере. Это — *общение жизненное.* Общение это чрезвычайно содержательно и важно. С одной стороны оно непосредственно примыкает к производственным процессам, с другой стороны оно соприкасается со сферами различных оформившихся и специализированных идеологий. Об этой особой области *жизненной идеологии* мы подробнее будем говорить в следующей главе. Здесь мы отметим, что материалом жизненного общения является по преимуществу *слово.* Так называемая разговорная речь и ее формы локализованы именно здесь, в области жизненной идеологии.

Слову принадлежит еще одна в высшей степени важная особенность, делающая его преимущественным medium'ом индивидуального сознания. Хотя действительность слова, как и всякого знака, расположена между индивидами, слово в то же время производится средствами индивидуального организма без помощи каких бы то ни было орудий и какого-либо внетелесного материала. Этим определилось то, что *слово стало знаковым материалом внутренней жизни — сознания* (внутренняя речь). Ведь сознание могло развиться, только обладая гибким и телесно-выраженным материалом. Таким и явилось слово. Слово может служить знаком, так сказать, внутреннего употребления; оно может осуществляться как знак, не будучи до конца выраженным вовне. Поэтому проблема индивидуального сознания как *внутреннего слова* (вообще *внутреннего знака*) является одной из важнейших проблем философии языка.

Уже с самого начала ясно, что подойти к этой проблеме с помощью обычного понятия слова и языка, как оно было выработано не социологической лингвистикой и философией языка — невозможно. Требуется глубокий и тонкий анализ слова как социального знака, чтобы понять его функцию как среды сознания.

Этой исключительною ролью слова как среды сознания определяется то, что *слово сопровождает как необходимый ингредиент все вообще идеологическое творчество.* Слово сопровождает и комментирует всякий идеологический акт. Про-

цессы понимания какого бы то ни было идеологического явления (картины, музыки, обряда, поступка) не осуществляются без участия внутренней речи. Все проявления идеологического творчества, все иные, не словесные знаки обтекаются речевой стихией, погружены в нее и не поддаются полному обособлению и отрыву от нее.

Это не значит, конечно, что слово может заместить всякий иной идеологический знак. Нет, все основные, специфические идеологические знаки не заместимы вполне словом. Принципиально нельзя передать адекватно словом музыкальное произведение или живописный образ. Религиозный обряд не может быть сполна заменен словом; нет адекватной словесной замены даже для простейшего жизненного жеста. Отрицание этого привело бы к самому пошлому рационализму и упростительству. Но в то же время все эти незаменимые словом идеологические знаки опираются на слово и сопровождаются словом, как пение сопровождается аккомпанементом.

Ни один культурный знак, если он понят и осмыслен, не остается изолированным, но входит в *единство словесно оформленного сознания.* Сознание умеет найти к нему какой-то словесный подход. Поэтому вокруг каждого идеологического знака образуются как бы расходящиеся круги словесных откликов и отзвучий. Всякое *идеологическое преломление становящегося бытия*, в каком бы то ни было значащем материале, *сопровождается идеологическим преломлением в слове* как обязательным сопутствующим явлением. Слово налично во всяком акте понимания и во всяком акте истолкования.

Все разобранные нами особенности слова — его *знаковая чистота, идеологическая* его *нейтральность,* его *причастность жизненному общению,* его *способность стать внутренним словом* и, наконец, его *обязательная наличность как сопровождающего явления во всяком сознательном идеологическом акте* — все это делает слово основополагающим объектом науки об идеологиях. Законы идеологического преломления бытия в знаке и в сознании, его формы и механику этого преломления должно прежде всего изучать на материале слова. Внесение марксистского социологического метода во все глубины и тонкости «имманентных» идеологических структур возможно только на основе разработанной самим же марксизмом философии языка как *философии идеологического знака.*

Глава II

ПРОБЛЕМА ОТНОШЕНИЯ БАЗИСА И НАДСТРОЕК

Недопустимость категорий механистической каузальности в науке об идеологии. Становление общества и становление слова. Знаковое выражение общественной психологии. Проблема речевых жизненных жанров. Форма социального общения и формы знаков. Тема знака. Классовая борьба и диалектика знака. Заключение.

Одна из основных проблем марксизма — проблема *отношения базиса к надстройкам* — в целом ряде существенных своих моментов тесно связана с вопросами философии языка и может многое получить от разрешения или хотя бы сколько-нибудь широкой и углубленной трактовки этих вопросов.

Когда ставится вопрос о том, каким образом базис определяет идеологию, то на него дают верный, но слишком общий, а потому многосмысленный ответ: *каузально* (причинно).

Если под каузальностью понимать механистическую каузальность, как ее до сих пор понимают и определяют позитивистические представители естественно-научного мышления, то такой ответ является в корне ложным и противоречащим самым основам диалектического материализма.

Область применения категорий механической каузальности чрезвычайно ограничена, и в самом естествознании она все более и более суживается по мере диалектического расширения и углубления его основоположений. Что же касается до основных вопросов исторического материализма и всей науки об идеологиях, то о применении здесь этой инертной категории не может быть и речи.

Установление связи между базисом и изолированным, вырванным из целостного и единого идеологического контекста явлением — никакой познавательной цены не имеет. Необходимо прежде всего определить *значение данного идеологического изменения в контексте соответствующей идеологии*, учитывая, что всякая идеологическая область является единым целым, всем своим составом реагирующим на изменение базиса. Поэтому объяснение должно сохранять всю *качественную разность* взаимодействующих областей и прослеживать все этапы, через которые проходит изменение. Только при этом условии в результате анализа окажется не внешнее соответствие двух случайных и в разных планах лежащих явлений, а процесс действительного диалектического становления общества, идущий из базиса и завершающийся в надстройках.

При игнорировании специфичности знакового идеологического материала идеологическое явление упрощается, в нем учитывается и объясняется или только рациональный содержательный момент (например — прямой познавательный смысл какого-нибудь художественного образа вроде: Рудин — «лишний человек»), и этот момент соотносится с базисом (напр. — дворянство разоряется, отсюда «лишний человек» в литературе). Или, наоборот, выделяется лишь внешний, технический момент идеологического явления (напр. — техника архитектурного сооружения или химическая техника красок), и этот момент непосредственно выводится из технического уровня производства.

И тот, и другой путь выведения идеологии из базиса одинаково обходит существо идеологического явления. Если установленное соответствие и верно, если «лишние люди» действительно появились в литературе в связи с тем, что дворянское хозяйство пошатнулось, то отсюда, во-первых, отнюдь не следует, что соответствующие хозяйственные потрясения механически каузально порождают «лишних людей» на страницах романа (нелепость такого предположения совершенно очевидна), во-вторых, самое это соответствие не имеет никакой познавательной ценности, пока не выяснена ни специфическая роль «лишнего человека» в художественной структуре романа, ни специфическая роль романа в социальной жизни в ее целом.

Ведь ясно, что между экономическими переменами в хозяйстве и между появлением «лишнего человека» в романе лежит очень длинный путь, проходящий через ряд *качественно различных сфер*, из которых каждая обладает своей *специфической закономерностью* и своеобразием. Ведь ясно, что «лишний человек» появился в романе не независимо и не без всякой связи с другими элементами романа; наоборот, весь роман перестроился как единое, органическое целое, подчиненное своим специфическим законам. Соответственно перестроились и все другие элементы романа — его композиция, его стиль и пр. Но и это органическое перестроение романа совершалось также в тесной связи с изменениями во всей литературе.

Проблема взаимоотношения базиса и надстроек — исключительно сложная и нуждающаяся для своей продуктивной разработки в громадном предварительном материале — может в значительной степени уясниться именно на материале слова.

Ведь сущность этой проблемы в интересующем нас плане сводится к тому, *как* действительное бытие (базис) определяет знак, *как* знак отражает и преломляет становящееся бытие.

Разобранные нами в предыдущей главе особенности слова как идеологического знака делают его наиболее подходящим материалом для принципиальной ориентации всей проблемы. Не столько знаковая чистота слова важна в данном отношении, сколько его *социальное вездесущие*. Ведь слово вкрадывается буквально во всякое взаимодействие и взаимосоприкосновение людей: в трудовое сотрудничество, в идеологическое общение, в случайные жизненные соприкосновения, политические взаимоотношения и пр. В слове реализованы бесчисленные идеологические нити, пронизывающие собою все области социального общения. Вполне понятно, что слово будет наиболее чутким *показателем социальных изменений*, притом там, где они еще только назревают, где они еще не сложились, не нашли еще доступа в оформившиеся и сложившиеся идеологические системы. Слово — та среда, в которой происходят медленные количественные накопления тех изменений, которые еще не успели перейти в новое идеологическое качество, не успели породить новой и законченной идеологической формы. Слово способно фиксировать все переходные, тончайшие и мимолетные фазисы социальных изменений.

Так называемая общественная психология, являющаяся по теории Плеханова и большинства марксистов переходным звеном между социально-политическим строем и идеологией в узком смысле (наука, искусство и пр.), реально, материально дана как *словесное взаимодействие*. Взятая вне этого реального процесса речевого (вообще знакового) общения и взаимодействия, общественная психология превратилась бы в метафизическое или мифическое понятие («коллективная душа» или «коллективная внутренняя психика», «дух народа» и т. п.).

Общественная психология дана не где-то внутри (в «душах» общающихся индивидов), а всецело — *вовне*: в слове, в жесте, в деле. В ней нет ничего невыраженного, внутреннего — все снаружи, все в обмене, все в материале, и, прежде всего, в материале слова.

Производственные отношения и непосредственно обусловленный ими социально-политический строй определяют все возможные словесные соприкосновения людей, все формы и способы их словесного общения: в работе, в политической жизни, в идеологическом творчестве. Условиями же, формами и типами речевого общения в свою очередь определяются как формы, так и темы речевых выступлений.

Общественная психология — это и есть прежде всего та стихия многообразных *речевых выступлений*, которая со всех сторон омывает все формы и виды устойчивого идеологическо-

го творчества: кулуарные разговоры, обмен мнений в театре, на концерте, в различных общественных сборищах, просто случайные беседы, манера словесного реагирования на жизненные и житейские поступки, внутрисловесная манера осознавать себя, свое общественное положение и пр., и пр. Общественная психология дана по преимуществу в разнообразнейших формах *«высказывания»*, в форме маленьких *речевых жанров*, внутренних и внешних, до сих пор совершенно не изученных. Все эти речевые выступления сопряжены, конечно, с другими типами знакового обнаружения и взаимодействия: с мимикой, жестикуляцией, условными действиями и т. п.

Все эти формы речевого взаимодействия чрезвычайно тесно связаны с условиями данной социальной ситуации и чрезвычайно чутко реагируют на все колебания социальной атмосферы. И вот, в недрах этой материализованной в слове общественной психологии накопляются те еле заметные изменения и сдвиги, которые затем находят свое выражение в завершенных идеологических продуктах.

Из сказанного вытекает следующее. Общественную психологию должно изучать с двух сторон: во-первых, с точки зрения ее *содержания*, т. е. с точки зрения тех *тем*, которые актуальны в ней в тот или иной момент, и во-вторых — с точки зрения тех *форм и типов речевого общения*, в котором данные темы осуществляются (обсуждаются, выражаются, испытываются, продумываются).

До сих пор задача изучения общественной психологии ограничивалась лишь первой точкой зрения, т. е. определением только тематического состава ее. При этом даже самый вопрос о том, где искать объективные документы, т. е. материальные выражения общественной психологии, не ставился со всею отчетливостью. И здесь понятия: «сознание», «психика», «внутренний мир», сыграли печальную роль, освобождая от необходимости искать отчетливых материальных форм выражения общественной психологии.

Между тем этот вопрос о конкретных формах имеет первостепенное значение. Дело здесь идет, конечно, не об источниках нашего знания общественной психологии в ту или иную эпоху (например, мемуары, письма, литературные произведения), не об источниках понимания «духа эпохи», — дело идет именно о самых формах конкретного осуществления этого духа, т. е. о формах жизненного, знакового общения.

Типология этих форм — одна из насущнейших задач марксизма.

В последующем, в связи с проблемою высказывания и диалога, мы еще коснемся проблемы речевых жанров. Здесь отметим лишь следующее.

Каждая эпоха и каждая социальная группа имеет свой репертуар речевых форм жизненно идеологического общения. Каждой группе однородных форм, т. е. каждому жизненному речевому жанру, соответствует своя группа тем. Между формой общения (например — непосредственное техническое трудовое общение), формой высказывания (короткая деловая реплика) и его темой существует неразрывное органическое единство. Поэтому *классификация форм высказывания должна опираться на классификацию форм речевого общения.* Эти же последние формы всецело определяются производственными отношениями и социально-политическим строем. При более подробном анализе мы увидели бы, какое громадное значение имеет *иерархический момент* в процессах речевого взаимодействия, какое могущественное влияние оказывает иерархическая организация общения на формы высказывания. Словесный этикет, речевой такт и иные формы приспособления высказывания к иерархической организации общества имеют громадное значение в процессе выработки основных жизненных жанров [1].

Всякий знак, как мы знаем, строится между социально организованными людьми в процессе их взаимодействия. Поэтому *формы знака обусловлены прежде всего как социальной организацией данных людей, так и ближайшими условиями их взаимодействия.* Изменяются эти формы — изменяется и знак. Проследить эту социальную жизнь словесного знака и должно быть одною из задач науки об идеологиях. Проблема *взаимоотношения знака и бытия* только при таком подходе может получить конкретное выражение, и только при этом условии процесс каузального определения знака бытием предстанет как процесс подлинного перехода бытия в знак, подлинного диалектического преломления бытия в знаке.

Для этого необходимо руководиться основным методологическим требованием:

---

[1] Проблема жизненных речевых жанров только в самое последнее время начинает обсуждаться в лингвистической и философской литературе. Одной из первых серьезных попыток подойти к этим жанрам, правда, без отчетливой социологической установки, является работа Leo Spitzer'a: «Italienische Umgangssprache» (1922). О нем, равно об его предшественниках и соратниках — в дальнейшем.

1) *Нельзя отрывать идеологию от материальной действительности знака* (помещая ее в «сознание» или прочие зыбкие и неуловимые области).

2) *Нельзя отрывать знак от конкретных форм социально-социальным кругозором* данной эпохи и данной социальной общения и вне его вообще не существует, превращаясь в простую физическую вещь).

3) *Нельзя отрывать общения и его формы от их материального базиса.*

Реализуясь в процессе социального общения, всякий идеологический знак, в том числе и словесный знак, определяется *социальным кругозором* данной эпохи и данной социальной группы. До сих пор мы говорили о форме знака, определяемой формами социального взаимодействия. Теперь мы касаемся другой стороны — *содержания знака* и того *ценностного акцента*, который сопровождает всякое содержание.

На каждом этапе развития общества существует особый и ограниченный круг предметов, доступных социальному вниманию, ценностно акцентуированных этим вниманием. Только этот круг предметов обретет знаковое оформление, станет объектом знакового общения. Чем же определяется этот круг ценностно акцентуированных предметов?

Для того, чтобы предмет, к какому бы роду действительности он ни принадлежал, вошел в социальный кругозор группы и вызвал бы знаковую идеологическую реакцию, — необходимо, чтобы этот предмет был связан с существенными социально-экономическими предпосылками бытия данной группы, необходимо, чтобы он задел как-то, хотя бы и краем, основы материального существования данной группы.

Индивидуальный произвол при этом, конечно, никакого значения иметь не может. Ведь знак творится между индивидами, в социальной среде, поэтому необходимо, чтобы и предмет приобрел междуиндивидуальное значение, лишь тогда он может стать объектом знакового оформления. Другими словами, *только то и может войти в мир идеологии, оформиться и упрочиться в нем, что приобрело общественную ценность.*

Поэтому-то все идеологические акценты, хотя они и производятся индивидуальным голосом (например, в слове) или вообще индивидуальным организмом, — являются *социальными акцентами,* претендующими на *социальную признанность,* и только ради этой признанности осуществленные вовне, в идеологическом материале.

Условимся называть ту действительность, которая становится объектом знака, *темою* знака. Каждый законченный знак имеет свою тему. Так, каждое словесное выступление имеет свою тему [1].

Идеологическая тема всегда социально акцентуирована. Конечно, все эти социальные акценты идеологических тем проникают и в индивидуальное сознание, которое, как мы знаем, сплошь идеологично. Здесь они становятся как бы индивидуальными акцентами, так как индивидуальное сознание срастается с ними, как со своими, но источником их является не индивидуальное сознание. Акцент как такой *междуиндивидуален.* Животный крик как чистая реакция на боль индивидуального организма лишен акцента. Это — чисто природное явление. Крик не рассчитан на социальную атмосферу, и потому в нем нет даже зачатков знакового оформления.

Тема идеологического знака и *форма* идеологического знака неразрывно связаны между собой и, конечно, различимы лишь в абстракции. Ведь в последнем счете одни и те же силы, одни и те же материальные предпосылки вызывают к жизни и ту, и другую.

В самом деле: одни и те же экономические условия приобщают новый элемент действительности к социальному кругозору, делают его социально значимым, «интересным», и они же, эти силы, создают формы идеологического общения (познавательного, художественного, религиозного и пр.), в свою очередь определяющие формы знакового выражения.

Таким образом, темы и формы идеологического творчества вырастают в одной и той же колыбели и, в сущности, являются двумя сторонами одного и того же.

Этот процесс вхождения действительности в идеологию, рождение темы и рождение формы — лучше всего прослеживать на материале слова. В языке этот процесс идеологического становления отразился как в своих больших, всемирно-исторических масштабах, изучаемых палеонтологией языковых значений, вскрывающей вхождение недифференцированных еще кусков действительности в социальный кругозор первобытных людей, так и в маленьких масштабах, укладывающихся в рамки современности, ибо слово, как мы знаем, чутко отражает мельчайшие сдвиги социального бытия.

Бытие, отраженное в знаке, не просто отражено, но *преломлено* в нем. Чем определяется это преломление бытия в идеологическом знаке?

---

[1] В каком отношении находится тема к семантике отдельных слов мы будем подробнее выяснять в последующем.

— Скрещением разнонаправленных социальных интересов в пределах одного знакового коллектива, т. е. *классовой борьбой.*

Класс не совпадает со знаковым коллективом, т. е. с коллективом, употребляющим одни и те же знаки идеологического общения. Так, одним и тем же языком пользуются разные классы. Вследствие этого в *каждом идеологическом знаке скрещиваются разнонаправленные акценты.* Знак становится ареною классовой борьбы.

Эта социальная *многоакцентность* идеологического знака — очень важный момент в нем. Собственно только благодаря этому скрещению акцентов знак жив и подвижен, способен на развитие. Знак, изъятый из напряженной социальной борьбы, оказавшийся как бы по ту сторону борьбы классов, неизбежно захиреет, выродится в аллегорию, станет объектом филологического понимания, а не живого социального разумения. Таких умерших идеологических знаков, не способных быть ареною столкновения живых социальных акцентов, полна историческая память человечества. Но все же, поскольку о них помнят филолог и историк, они еще сохраняют последние проблески жизни.

Но именно то, что делает идеологический знак живым и изменчивым, то же самое делает его преломляющей и искажающей бытие средой. Господствующий класс стремится придать надклассовый вечный характер идеологическому знаку, погасить или загнать внутрь совершающуюся в нем борьбу социальных оценок, сделать его моноакцентным.

На самом же деле, всякий живой идеологический знак двулик как Янус. Всякая живая брань может стать похвалою, всякая живая истина неизбежно должна звучать для многих других как величайшая ложь. Эта *внутренняя диалектичность знака* раскрывается до конца только в эпохи социальных кризисов и революционных сдвигов. В обычных условиях социальной жизни это заложенное в каждом идеологическом знаке противоречие не может до конца раскрыться, потому что идеологический знак в сложившейся господствующей идеологии всегда несколько реакционен и как бы старается стабилизировать предшествующий момент диалектического потока социального становления, акцентуировать правду вчерашнего дня как сегодняшнюю правду. Этим определяется преломляющая и искажающая особенность идеологического знака в пределах господствующей идеологии.

Так развертывается проблема отношения базиса и надстро-
ке. На материале словесного знака легче и полнее всего мож-
сторон ее и уяснение тех путей и направлений, по которым
должна идти продуктивная разработка этой проблемы. Нам
важно было показать место философии языка в ее разработ-
ке. На материале словесного знака легче и полнее всего мож-
но проследить непрерывность диалектического процесса изме-
нения, идущего от базиса к надстройкам. Категория механи-
ческой каузальности в объяснении идеологических явлений
легче всего может быть преодолена на почве философии
языка.

Глава III

ФИЛОСОФИЯ ЯЗЫКА И ОБЪЕКТИВНАЯ ПСИХОЛОГИЯ

Задача объективного определения психики. Идея понимающей и истолковывающей психологии (Дильтей). Знаковая действительность психики. Точка зрения функциональной психологии. Психологизм и антипсихологизм. Особенность внутреннего знака (внутренняя речь). Проблема самонаблюдения. Социально-идеологическая природа психики. Итоги.

Одной из основных и насущнейших задач марксизма является построение подлинно объективной психологии, однако не физиологической и не биологической, а *социологической*. В связи с этим перед марксизмом стоит трудная задача: найти объективный, но в то же время тонкий и гибкий подход к сознательной субъективной психике человека, подведомственной обычно методам самонаблюдения.

Ни биология, ни физиология с этой задачей справиться не могут: сознательная психика — факт социально-идеологический, недоступный ни физиологическим, ни каким-либо иным естественнонаучным методам. Свести субъективную психику к каким бы то ни было процессам, совершающимся в пределах замкнутого природного, животного организма, невозможно. Процессы, определяющие в основном содержание психики, совершаются не в организме, а вне его, хотя и при участии индивидуального организма.

Субъективная психика человека не есть объект естественнонаучного анализа, как вещь или процесс природы; субъективная психика есть объект идеологического понимания и понимающей социально-идеологической интерпретации. Понятый и истолкованный психический феномен поддается ебъяснению лишь социальными факторами, определяющими конкретную жизнь данного индивида в условиях социальной среды[1].

Первая принципиальная задача, которая встает в этом направлении, — задача объективного определения «внутреннего опыта». Необходимо включить «внутренний опыт» в единство объективного внешнего опыта.

Какого рода действительность принадлежит субъективной психике?

[1] Популярный очерк современных проблем психологии был дан нами в нашей книге «Фрейдизм» (критический очерк), Ленотгиз, 1927 г. См. II главу «Два направления современной психологии».

— *Действительность внутренней психики — действительность знака.* Вне знакового материала нет психики. Есть физиологические процессы, процессы в нервной системе, — но нет субъективной психики как особого качества бытия, в корне отличного как от физиологических процессов, совершающихся в организме, так и от окружающей организм действительности, на которую психика реагирует и которую она так или иначе отражает. По роду своего бытия субъективная психика локализована как бы между организмом и внешним миром, как бы *на границе* этих двух сфер действительности. Здесь происходит встреча организма с внешним миром, но встреча не физическая: *организм и мир встречаются здесь в знаке.* Психическое переживание является знаковым выражением соприкосновения организма с внешней средой. Поэтому-то *внутреннюю психику нельзя анализировать как вещь, а можно лишь понимать и истолковывать как знак.*

Идея понимающей и интерпретирующей психологии очень стара и имеет поучительную историю. Характерно, что в новейшее время она нашла свое наиболее глубокое обоснование в связи с методологическими потребностями гуманитарных наук, т. е. наук об идеологиях.

Наиболее вдумчивым и принципиальным защитником этой идеи в новое время был *Вильгельм Дильтей.* Для него субъективное психическое переживание не столько существовало, как существует вещь, сколько *значило.* Отвлекаясь от этого значения, пытаясь найти чистую действительность переживания, мы, на самом деле, по Дильтею, оказываемся перед физиологическим процессом в организме, переживание же мы теряем при этом из поля нашего зрения, подобно тому, как, отвлекаясь от значения слова, мы теряем самое слово, оказываясь перед голым физическим звуком и физиологическим процессом его произнесения. То, что делает слово словом, это — его значение. То, что делает переживание переживанием, это тоже — его значение. И нельзя отвлечься от него, не утрачивая самого существа внутренней психической жизни. Поэтому-то задачи психологии не могут быть задачами каузального объяснения переживаний, как если бы они были аналогичны физическим или физиологическим процессам. Задачей психологии является понимающее описание, расчленение и истолкование психической жизни, как если бы это был документ, подлежащий филологическому анализу. Только такая описательная и истолковывающая психология может, по Дильтею, служить

основою гуманитарных наук, или «наук о духе», как он их называет[1].

Идеи Дильтея оказались очень плодотворными и продолжают до настоящего времени иметь много сторонников среди представителей гуманитарных наук. Можно сказать, что почти все современные немецкие гуманитаристы с философским уклоном находятся в большей или меньшей зависимости от идей Вильгельма Дильтея[2].

Концепция Вильгельма Дильтея выросла на идеалистической почве, на этой же почве остаются и его последователи. Идея понимающей и интерпретирующей психологии очень тесно связана с идеалистическими предпосылками мышления и многим представляется специфически идеалистической идеей.

Действительно, в той форме, в которой интерпретирующая психология обосновывалась и развивалась до настоящего времени, она идеалистична и для диалектического материализма неприемлема.

Неприемлем прежде всего *методологический примат психологии над идеологией*. Ведь, согласно воззрениям Дильтея и других представителей интерпретирующей психологии, эта последняя должна быть основою гуманитарных наук. Идеология объясняется из психологии как ее выражение и воплощение, а не наоборот. Правда, между психикой и идеологией достигнуто сближение, для них найден общий знаменатель — значение, одинаково отличающее и ту, и другую от остальной действительности. Но тон в этом сближении задает психология, а не идеология.

Далее, в идеях Дильтея и других совершенно *не учтен социальный характер значения*.

Наконец, — и это proton pseudos всей их концепции — *не понята необходимая связь значения со знаком*, не понята специфическая природа знака.

В самом деле, сопоставление переживания и слова является для В. Дильтея простой аналогией, поясняющим образом, притом довольно редким в его произведениях. Он очень далек от того, чтобы сделать из этого сравнения надлежащие выводы. Более того, не психику объясняет он с помощью идеологического знака, а, как всякий идеалист, знак — с помощью

---

[1] См. о нем на русском языке статью Фришейзен-Кёлера («Логос», 1912—1913 гг. Кн. I—II.)

[2] Об основополагающем влиянии Дильтея говорят: Оскар Вальцель, Вильгельм Гундольф, Эмиль Эрматтингер и др. Мы называем, конечно, только крупнейших представителей гуманитарных наук современной Германии.

психики: знак становится по Дильтею знаком лишь поскольку служит выражением для внутренней жизни. Эта последняя наделяет знак присущим ей значением. Здесь построение В. Дильтея осуществляет общую для всего идеализма тенденцию: *изъять всякий смысл, всякое значение из материального мира и локализовать его в пребывающем вне-времени и вне-пространства духе.*

Если переживание имеет значение, а не только единичную действительность, а в этом Дильтей прав, то, очевидно, переживание неизбежно должно осуществляться на знаковом материале. Ведь значение может принадлежать только знаку, значение вне знака — фикция. Значение является выражением отношения знака как единичной действительности к другой действительности, им замещаемой, представляемой, изображаемой. Значение есть функция знака, поэтому и невозможно представить себе значение (являющееся чистым отношением, функцией), существующим вне знака, как какую-то особую, самостоятельную вещь. Это так же нелепо, как считать значением слова «лошадь» вот эту данную живую лошадь. Ведь в таком случае можно было бы, например, съев яблоко, заявить, что я съел не яблоко, а значение слова «яблоко». Знак есть единичная материальная вещь, но значение не есть вещь и не может быть обособлено от знака как самостоятельная и помимо знака существующая реальность. Поэтому, если переживание имеет значение, если оно может быть понято и истолковано, то оно должно быть дано на материале действительного, реального знака.

Подчеркиваем, *переживание не только может быть выражено при помощи знака* (ведь можно выразить для других переживание в слове, в мимике лица или каким-либо иным путем), но помимо этого своего выражения вовне (для других), — *переживание и для самого переживающего существует только в знаковом материале.* И вне этого материала переживания как такового вовсе нет. В этом смысле *всякое переживание выразительно*, т. е. является потенциальным выражением. Выразительна всякая мысль, всякая эмоция, всякое волевое движение. Этого момента выразительности нельзя отмыслить от переживания, не утрачивая самой природы его[1].

[1] Идея выразительности всех явлений сознания не чужда неокантианству, кроме уже названной нами работы Кассирера о выразительном характере сознания (сознание — как выразительное движение) писал покойный Hermann Cohen в третьей части своей системы (Ästhetik des reinen Gefühls). Однако здесь, из этой идеи, менее всего возможны правильные выводы. Сущность сознания остается все же по ту сторону бытия.

Таким образом, между внутренним переживанием и его выражением нет скачка, нет перехода от одного качества действительности к другому качеству. Переход от переживания к его внешнему выражению совершается в пределах одного качества, является *количественным* переходом. Правда, часто в процессе внешнего выражения совершается переход от одного знакового материала (например, мимического) к другому (например, словесному), но весь процесс не выходит за пределы знакового материала.

Что же является знаковым материалом психики?

— Любое органическое движение или процесс: дыхание, кровообращение, телесное движение, артикуляция, внутренняя речь, мимическое движение, реакция на внешние, напр. световые раздражения и пр., и пр. Короче говоря, *все совершающееся в организме может стать материалом переживания,* ибо все может приобрести знаковое значение, стать выразительным.

Правда, материал этот далеко не равноценен. Для сколько-нибудь развитой, дифференцированной психики необходим тонкий и гибкий знаковый материал, притом такой, который мог бы оформляться, уточняться, дифференцироваться во внетелесной социальной среде, в процессе внешнего выражения. Поэтому знаковым материалом психики по преимуществу является слово — *внутренняя речь.* Правда, внутренняя речь переплетена массою иных двигательных реакций, имеющих знаковое значение. Все же основою, костяком внутренней жизни является слово. Выключение слова до крайней степени снизило бы психику, выключение всех остальных выразительных движений вовсе бы ее погасило.

Если мы отвлечемся от знаковой функции внутренней речи и всех остальных выразительных движений, из которых слагается психика, то мы окажемся перед голым физиологическим процессом, протекающим в пределах индивидуального организма. Для физиолога такая абстракция совершенно правомерна и необходима: ему нужен только физиологический процесс и его механика.

Правда, и для физиолога как биолога важно учитывать выразительвыразительную знаковую функцию (ergo — социальную функцию) соответствующих физиологических процессов. Без этого он не поймет их биологического места в общей экономике организма. В этом отношении и биолог не может отказаться от социологической точки зрения, не может учитывать того, что человеческий организм принадлежит не абстрак-

тной природной среде, а входит в специфическую социальную среду. Но учтя знаковую функцию соответствующих физиологических процессов, физиолог в дальнейшем прослеживает их чисто физиологический механизм (например, механизм условного рефлекса) и совершенно отвлекается от их изменчивых, подчиненных своим социально-историческим законам идеологических значений. Одним словом, содержание психики его не касается.

Но именно это содержание психики, взятое в отношении к индивидуальному организму, является объектом психологии. Никакого иного объекта у науки, достойной этого наименования, нет и не может быть.

Существует утверждение, что содержание психики не есть объект психологии, каковым является лишь функция этого содержания в индивидуальной психике. Такова точка зрения так называемой «функциональной психологии»[1].

Согласно учению этой школы, «переживание» состоит из двух моментов. Один момент — *содержание переживания.* Оно — *не психично.* Это или физическое явление, на которое направлено переживание (напр., предмет восприятия), или познавательное понятие, обладающее своей логической закономерностью, или этическая ценность и т. п. Эта содержательная, предметная сторона переживания принадлежит природе, культуре, истории и, следовательно, входит в компетенцию соответствующих научных дисциплин и не касается психолога.

Другой момент переживания — это *функция данного предметного содержания в замкнутом единстве индивидуальной психической жизни.* Вот эта-то *пережитость* или *переживаемость* всякого внепсихического содержания и является объектом психологии. Или, говоря иными словами, объектом функциональной психологии является не «*что*» переживания, а его «*как*». Так, например, содержание какого-нибудь мыслительного процесса, его «что», не психично и принадлежит компетенции логика, гносеолога или математика (если дело идет о математическом мышлении). Психолог же изучает лишь то, *как* осуществляется мышление данных объективных содержаний (логических, математических и иных) в условиях данной индивидуальной субъективной психики.

[1] Важнейшие представители функциональной психологии: Штумпф, Мейнонг и др. Основы функциональной психологии были заложены Францем Брентано. В настоящее время функциональная психология является бесспорно господствующим направлением германской психологической мысли, правда, не в своей чистой классической форме.

Мы не будем углубляться в детали этой психологической концепции, не будем касаться тех, иногда очень существенных, различий в понимании психической функции, какие существуют среди представителей этой школы и родственных ей психологических направлений. Для наших задач достаточен изложенный основной принцип функциональной психологии. Он позволит нам отчетливее выразить наше понимание психики и то значение философии знака (resp. философии языка), какое принадлежит ей при разрешении проблемы психологии.

И функциональная психология выросла и сложилась на почве идеализма. Но в известном отношении она по своей тенденции является диаметрально противоположной интерпретирующей психологии дильтеевского типа.

В самом деле, если Дильтей стремился как бы привести психику и идеологию к одному знаменателю — значению, то функциональная психология стремится, наоборот, к проведению принципиальной и строжайшей *границы между психикой и идеологией*, границы, пролегающей как бы *внутри* самой психики. Все значимое оказывается в результате начисто выключенным из пределов психики, а все психическое оказываетяс сведенным лишь к чистому функционированию отдельных предметных содержаний в некой индивидуальной констелляции их, называемой «индивидуальной душой». Если здесь говорить о примате, то в функциональной психологии, в отличие от интерпретирующей, примат принадлежит идеологии над психикой.

Спрашивается теперь, чем же является психическая функция, каков род ее бытия?

На этот вопрос мы не найдем отчетливого, удовлетворительного ответа у представителей функциональной психологии. В этом вопросе у них нет ясности, нет согласия и единства. Но в одном все же они согласны: психическая функция отнюдь не является каким-либо физиологическим процессом. Психологическое, таким образом, отчетливо отграничивается от физиологического. Но какого рода действительность принадлежит этому новому качеству — психическому, — остается невыясненным.

Также неясным остается в функциональной психологии и вопрос о действительности идеологического явления.

Ясный ответ дается функционалистами лишь там, где переживание направлено на предмет природы. В этом случае психической функции противостоит природное, физическое бытие — это дерево, земля, камень и т. п.

Но в каком же виде противостоит психической функции идеологическое бытие — логическое понятие, этическая ценность, художественный образ и т. п.?

Большинство представителей функциональной психологии в этом вопросе придерживается общеидеалистических, главным образом кантианских воззрений[1]. Рядом с индивидуальной психикой и индивидуальным субъективным сознанием они допускают «трансцендентальное сознание», «сознание вообще», «чистый гносеологический субъект» и пр. В эту-то трансцендентальную среду они и помещают идеологическое явление, противостоящее индивидуальной психической функции[2].

Таким образом, и проблема идеологической действительности на почве функциональной психологии остается неразрешенной.

Отсутствие понимания идеологического знака и специфического рода его бытия обусловливает, следовательно, и здесь, и повсюду неразрешимость проблемы психического.

Проблема психического никогда не будет разрешена до тех пор, пока не будет разрешена проблема идеологического. Эти две проблемы неразрывно сплетены между собою. Вся история психологии и вся история наук об идеологиях (логики, теории познания, эстетики, гуманитарных наук и пр.) есть история непрестанной борьбы, взаиморазмежевания и взаимопоглощения между этими двумя познавательными дисциплинами.

Существует как бы своеобразная периодическая смена стихийного *психологизма*, затопляющего все науки об идеологиях, и резкого *антипсихологизма*, отымающего у психики все ее содержание, сводящего ее к какому-то пустому, формальному месту (как в функциональной психологии) или к голому физиологизму. Идеология же, лишенная при последовательном антипсихологизме своего привычного места в бытии (именно в психике), оказывается вообще без места и принуждена уйти из действительности на трансцендентальные или даже прямо трансцендентные высоты.

В начале XX века мы как раз пережили резкую (но, конечно, далеко не первую в истории) волну антипсихологизма. Ос-

[1] В настоящее время на почве функциональной психологии стоят и **феноменологи**, связанные и в своей общефилософской концепции с Францем Брентано.

[2] Феноменологи же **онтологизуют** идеологические смыслы, допуская самостоятельную сферу идеального бытия.

новополагающие труды Гуссерля[1], главного представителя современного антипсихологизма, труды его последователей — *интенционалистов* («феноменологов»), резкий, антипсихологистический поворот представителей современного неокантианства Марбургской и Фрейбургской школ[2], изгнание психологизма из всех областей знания и даже из самой психологии (!) — все это является важнейшим философским и методологическим событием двух пережитых десятилетий нашего века.

В настоящее время волна антипсихологизма начинает спадать. На смену ему приходит новая и, по-видимому, очень мощная волна психологизма. Модная форма психологизма — *философия жизни.* Под фирмою «философии жизни» самый необузданный психологизм с необычайной быстротой снова захватывает все покинутые им столь недавно позиции во всех областях философии и в науке об идеологиях[3].

Идущая волна психологизма не несет с собою никаких новых принципиальных обоснований психической действительности. Новейший психологизм в отличие от предшествующего (вторая половина XIX века), позитивно-эмпирического психологизма (типичнейший представитель его — Вундт), склонен толковать внутреннее бытие, «стихию переживаний» — ***метафизически.***

В результате диалектической смены психологизма и антипсихологизма, таким образом, не появилось диалектического синтеза. Ни проблема психологии, ни проблема идеологии до

---

[1] См. I том «Логических исследований» (русск. пер., 1910), являющихся как бы библией современного антипсихологизма, а также его статью: «Философия как строгая наука» («Логос», 1911—1912 гг. Кн. I).

[2] См., напр., очень поучительную работу Генриха Риккерта (главы Фрейбургской школы) «Два пути теории познания» в сб. «Новые идеи в философии», вып. VII, 1913 г. В этой работе Риккерт под влиянием Гуссерля переводит на антипсихологический язык свою, первоначально несколько психологистическую, концепцию теории познания. Статья очень характерна для отношения неокантианства к антипсихологистическому движению.

[3] Общий обзор современной философии жизни, правда, тенденциозный и несколько устаревший, читатель найдет в книге Риккерта «Философия жизни» («Academia», 1921). Громадное влияние на гуманитарные дисциплины оказывает книга Spranger'a «Lebensformen». Под влиянием философии жизни в настоящее время в большей или меньшей степени находятся все крупнейшие германские представители литературоведения и науки о языке. Назовем: Эрматингер («Das dichterische Kunstwerk», 1921), Гундольф (книга о Гете и книга о Георге, 1916—1925 гг.), Гефеле («Das Wesen der Dichtung», 1923), Вальцель («Gehalt und Form ... im dichterischen Kunstwerk», 1923), Фослер и фослерианцы и многие др. О некоторых из перечисленных мы будем говорить позднее.

сих пор не нашли должного разрешения в буржуазной философии.

Обоснования обеих проблем должны быть одновременны и взаимосвязаны. Мы полагаем, что один и тот же ключ открывает объективный доступ в обе сферы. Этот ключ — *философия знака*, resp. философия слова как идеологического знака par exellence. Идеологический знак — общая территория как психики, так и идеологии, территория материальная, социологическая и значащая. На этой территории должно произойти и размежевание психологии и идеологии. Психика не должна быть дублетом остального мира (прежде всего идеологического) и остальной мир не должен быть простой материальной ремаркой к психическому монологу.

Но если действительность психики есть знаковая действительность, то как провести все же границу между индивидуальной субъективной психикой и идеологией в точном смысле этого слова, являющейся также знаковой действительностью? Мы пока указали только общую территорию, необходимо теперь провести внутри этой территории соответствующую границу.

Сущность этого вопроса сводится к определению внутреннего (внутри-телесного) знака, доступного в своей прямой действительности самонаблюдению.

С точки зрения самого идеологического содержания, между психикой и идеологией нет и не может быть границ. Всякое, без исключения, идеологическое содержание, в каком бы знаковом материале оно ни было воплощено, может быть понято, следовательно, — психически усвоено, т. е. может быть воспроизведено на материале внутреннего знака. С другой стороны, всякое идеологическое явление в процессе своего создания проходит через психику как через необходимую инстанцию. Повторяем, всякий внешний идеологический знак, какого бы рода он ни был, со всех сторон омывается внутренними знаками — сознанием. Из этого моря внутренних знаков он рождается и в нем продолжает жить, ибо жизнь внешнего знака — в обновляющемся процессе его понимания, переживания, усвоения, т. е. во все новом и новом внедрении его во внутренний контекст.

Поэтому, с точки зрения содержания, между психикой и идеологией нет принципиальной границы, есть лишь различие в степенях: идеологема на стадии внутреннего развития, невоплощенная во внешнем идеологическом материале, — смутная идеологема; уясняться, дифференцироваться, закрепляться она может лишь в процессе идеологического воплощения. Замысел

всегда меньше создания (даже неудачного). Мысль, существующая еще только в контексте моего сознания и не укрепленная в контексте науки как единой идеологической системы, — еще неясная и неготовая мысль. Но уже в контексте моего сознания эта мысль осуществляется с установкой на идеологическую систему и сама порождена впитанными мною ранее идеологическими знаками. Повторяем, принципиального качественного различия здесь нет. Познание в книгах и в чужих речах и познание в голове — принадлежат к одной сфере действительности, и различия, все же существующие между головой и книгой, не касаются содержания познания.

Наиболее затрудняет нашу проблему размежевания психики и идеологии — понятие «индивидуальный». Как коррелят индивидуальному обычно мыслится «социальный». Отсюда: психика — индивидуальна, идеология — социальна.

Такого рода понимание является в корне ложным. Коррелятом социального является «природный», следовательно, вовсе не индивид как личность, а природная биологическая особь. Индивид как собственник содержаний своего сознания, как автор своих мыслей, как ответственная за свои мысли и желания личность, такой индивид является чистым социально-идеологическим явлением. Поэтому содержание «индивидуальной» психики по природе своей столь же социально, как и идеология, и самая степень сознания своей индивидуальности и ее внутренних прав — идеологична, исторична и всецело обусловливается социологическими факторами[1]. Всякий знак социален как такой, и внутренний знак не менее, чем внешний.

Во избежание недоразумений следует всегда строго различать между понятием единичной, не приобщенной социальному миру природной особи, как ее знает и изучает биолог, и понятием индивидуальности, каковое уже является знаковой идеологической надстройкой над природною особью и потому социально. Эти два значения слова «индивидуальность» (природная особь и личность) обычно смешиваются, в результате чего в рассуждениях большинства философов и психологов постоянно имеет место quaternio terminorum: то имеется в виду одно понятие, то подставляется другое.

Если содержание индивидуальной психики так же социально, как и идеология, то с другой стороны и идеологические

[1] В последней части нашей работы мы увидим, насколько относительно и идеологично понятие речевого, словесного авторства, «собственности на слово», и насколько поздно вырабатывается в языке отчетливое ощущение индивидуальных необходимостей речи.

явления так же индивидуальны (в идеологическом смысле этого слова), как и психические. Каждый идеологический продукт носит печать индивидуальности своего создателя или создателей, но и эта печать такая же социальная, как и все остальные особенности и признаки идеологических явлений.

Итак, всякий знак, и даже знак индивидуальности — социален. В чем же различие внутреннего и внешнего знака, психики и идеологии?

— Осуществленное на материале внутреннего движения значение обращено к организму же, к данной особи, и прежде всего определяется в контексте ее единичной жизни. В этом отношении известная доля правды присуща воззрениям представителей функциональной школы. Игнорировать своеобразное единство психики в отличие от единства идеологических систем — недопустимо. Своеобразие психического единства совершенно совместимо с идеологическим и социологическим пониманием психики.

В самом деле, какая-нибудь познавательная мысль и в моем осознании, в моей психике осуществляется, как мы говорили, с установкой на идеологическую систему познания, в которой данная мысль и найдет свое место. Мысль моя, в этом смысле, с самого начала принадлежит идеологической системе и управляется ее закономерностью,— системе моей психики. Единство этой системы определяется не только единством моего биологического организма, но и всею совокупностью жизненных и социальных условий, в которые этот организм поставлен. В направлении к этому органическому единству моей особи и к этим специфическим условиям моего существования и будет изучать мою мысль психолог. Идеолога же эта мысль интересует лишь с точки зрения ее объективного вклада в систему познания.

Система психического, определяемая органическими и биографическими (в широком смысле) факторами, отнюдь не является только результатом «точки зрения» психолога. Нет, это реальное единство, как реальна лежащая в ее основе биологическая особь с ее особой конституцией и как реальна совокупность жизненных условий, определяющих жизнь этой особи. Чем теснее внутренний знак вплетен в единство этой психической системы, чем сильнее он определяется биологическим и биографическим моментом, тем дальше он от законченного идеологического выражения. Наоборот, по мере своего идеологического оформления и воплощения внутренний знак как бы освобождается от пут сковывающего его психического контекста.

Этим определяется и различие в процессах понимания внутреннего знака, т. е. переживания, и внешнего чисто идеологического знака. В первом случае *понять* значит отнести данный внутренний знак к единству других внутренних же знаков, воспринять его в контексте данной психики; во втором случае — воспринять данный знак в соответствующей идеологической системе. Правда, и в первом случае необходимо учитывать чисто идеологическое значение данного переживания: ведь не поняв, скажем, чисто познавательного смысла какой-либо мысли, психолог не сможет понять и ее места в контексте данной психики. Если он отвлечется от познавательного значения данной мысли, то перед ним уже будет не мысль, не знак, а голый физиологический процесс осуществления данной мысли, данного знака в организме. Поэтому-то психология познания должна опираться на теорию познания и на логику, и вообще психология должна опираться на науку об идеологиях, а не наоборот.

Следует сказать, что и всякое внешнее знаковое выражение, например высказывание, может строиться в двух направлениях: к субъекту и от него — к идеологии. В первом случае высказывание имеет целью выразить во внешних знаках внутренние знаки как такие и требует от слушающего отнесения их к внутреннему контексту, т. е. чисто психологического понимания. В другом случае требуется чисто идеологическое, объективно-предметное понимание данного высказывания [1].

Так совершается размежевание между психикой и идеологией [2].

Как же дана психика, как даны внутренние знаки для нашего наблюдения и изучения?

— В своем чистом виде внутренний знак, т. е. переживание, дан лишь для самонаблюдения (интроспекции).

---

[1] Следует отметить, что высказывания первого рода могут иметь двоякий характер: они могут сообщать о переживаниях («я испытываю радость») или могут их непосредственно выражать («ура!»). Возможны переходные формы («я рад!» — с сильной экспрессивной интонацией радости). Различение этих видов имеет громадное значение для психолога и для идеолога. Ведь в первом случае нет выражения переживания и, следовательно, нет актуализации внутреннего знака. Здесь выражается результат самонаблюдения (дается, так сказать, знак знака). Во втором случае самонаблюдение во внутреннем опыте прорывается наружу и становится объектом внешнего наблюдения (правда, прорываясь наружу, оно несколько видоизменяется). В третьем, переходном, случае результат самонаблюдения окрашивается прорывающимся внутренним знаком (первичным знаком).

[2] Изложение наших воззрений на содержание психики как на идеологию было дано в уже указанной нашей книге «Фрейдизм». См. главу «Содержание психики как идеология».

Нарушает ли самонаблюдение единство внешнего, объективного опыта? — При правильном понимании психики и самого самонаблюдения — нисколько не нарушает[1].

В самом деле, ведь объектом самонаблюдения является внутренний знак, который как таковой может быть и внешним знаком. Внутренняя речь могла бы и зазвучать. Результаты самонаблюдения в процессе самоуяснения непременно должны быть выражены вовне или во всяком случае приближены к стадии внешнего выражения. Самонаблюдение как такое движется в направлении от внутреннего к внешнему знаку. Самому самонаблюдению принадлежит, таким образом, выразительный характер.

Самонаблюдение есть понимание собственного внутреннего знака. Этим оно и отличается от наблюдения физической вещи или какого-нибудь физического процесса. Переживания мы не видим и не ощущаем; мы его понимаем. Это значит, что в процессе самонаблюдения мы включаем его в какой-то контекст других понимаемых знаков. Знак освещается только с помощью другого знака.

Самонаблюдение является *пониманием* и потому неизбежно совершается в каком-нибудь определенном идеологическом направлении. Так, оно может совершаться в интересах психологии, и в таком случае оно понимает данное переживание в контексте других внутренних знаков в направлении к единству психическое жизни.

В этом случае самонаблюдение освещает внутренние знаки с помощью познавательной системы психологических знаков, уясняет и дифференцирует переживание в направлении к точному психологическому отчету о нем. Такое задание дается, например, испытуемому во время психологического эксперимента. Высказывание испытуемого является психологическим отчетом или полуфабрикатом такого отчета.

Но самонаблюдение может идти и в другом направлении, тяготея к этической, нравственной самообъективации. Здесь внутренний знак вводится в систему этических оценок и норм, понимается и уясняется с их точки зрения.

Возможны и иные направления самонаблюдения как понимания. Но всегда и всюду самонаблюдение активно стремится к уяснению внутреннего знака, к доведению его до большей знаковой отчетливости. Своего предела этот процесс достигает тогда, когда объект самонаблюдения становится вполне *по-*

[1] Такое нарушение имело бы место, если бы действительность психики была действительностью вещи, а не действительностью знака.

нятным, т. е. может стать объектом не самонаблюдения только но и обычного объективного идеологического наблюдения (знакового).

Таким образом, самонаблюдение как идеологическое понимание включается в единство объективного опыта. К этому нужно прибавить еще и следующее: в конкретном случае невозможно провести отчетливую границу между внутренними и внешними знаками, между внутренним самонаблюдением и внешним наблюдением, дающим непрерывный как *знаковый*, так и *реальный комментарий* к понимаемым внутренним знакам.

Реальный комментарий всегда наличен. Понимание всякого знака, как внешнего, так и внутреннего, совершается в неразрывной связи со всею *ситуацией осуществления данного знака*. Эта ситуация и при самонаблюдении дана как совокупность фактов внешнего опыта, комментирующего, освещающего данный внутренний знак. Эта ситуация всегда — *социальная ситуация*. Ориентация в своей душе (самонаблюдение) реально неотделима от ориентации в данной социальной ситуации переживания. Поэтому всякое углубление самонаблюдения возможно лишь в неразрывной связи с углублением понимания социальной ориентации. Полное отвлечение от этой последней также приводит к полному погашению переживания, как к этому же приводит и отвлечение от его знаковой природы. Как мы подробнее увидим в дальнейшем, *знак и его социальная ситуация неразрывно спаяны*. Знак не может быть отделен от социальной ситуации, не утрачивая своей знаковой природы.

Проблема внутреннего знака является одной из важнейших проблем философии языка. Ведь внутренним знаком по преимуществу является слово, внутренняя речь. Проблема внутренней речи, как и все разбираемые в этой главе проблемы,—философская проблема. Она лежит на стыке психологии и проблем наук об идеологиях. Свое принципиальное методологическое решение она может получить только на почве философии языка как философии знака. Чем является слово в роли внутреннего знака? В какой форме осуществляется внутренняя речь? Как она связывается с социальной ситуацией? Как она относится к внешнему высказыванию? Какова методика обнаружения, так сказать, уловления внутренней речи? — Ответ на эти вопросы может дать лишь разработанная философия языка.

Возьмем хотя бы второй вопрос — в каких формах осуществляется внутренняя речь?

С самого начала ясно, что все без исключения категории, выработанные лингвистикой для анализа форм внешнего языка — речи (лексикологические, грамматические, фонетические), неприменимы к анализу форм внутренней речи, а если и применимы, то в какой-то очень существенной, коренной переработке.

При более внимательном анализе оказалось бы, что единицею внутренней речи являются некие *целые*, несколько напоминающие абзацы монологической речи, или целые высказывания. Но более всего они напоминают *реплики диалога*. Недаром внутренняя речь представлялась уже древнейшим мыслителем как *внутренний диалог*. Эти целые неразложимы на грамматические элементы (или разложимы лишь с большими оговорками), и между ними, как и между репликами диалога, нет грамматических связей, а господствуют связи иного рода. Эти единицы внутренней речи, как бы *«тотальные импрессии»*[1] *высказываний,* связаны друг с другом и сменяют друг друга не по законам грамматики или логики, а по законам *ценностного* (эмоционального) *соответствия, диалогического нанизывания* и т. п., в тесной зависимости от исторических условий социальной ситуации и всего прагматического хода жизни[2].

Только выяснение форм целых высказываний и, особенно, форм диалогической речи может пролить свет и на формы внутренней речи, и на своеобразную логику их следования в потоке внутренней жизни.

Все намеченные нами проблемы внутренней речи, конечно, совершенно выходят за пределы нашей работы. Продуктивная разработка их в настоящее время вообще еще невозможна. Необходим громадный предварительный фактический материал и необходимо уяснение более элементарных и основных вопро-

---

[1] Термин заимствуем у Гомперца («Weltanschauungslehre»). Впервые этот термин употребил, кажется, Отто Вейнингер. Тотальная импрессия — нерасчлененное еще впечатление от целого предмета, как бы аромат целого, предшествующий и лежащий в основе отчетливого узнания предмета. Так мы иногда не можем вспомнить какое-нибудь слово или имя, хотя оно у нас «вертится на языке», т. е. у нас уже есть тотальная импрессия этого имени или слова, но она не может развернуться в конкретный и дифференцированный образ его. Тотальные импрессии, по Гомперцу, имеют большое значение в познании. Они являются психическими эквивалентами форм целого, придающих целому его единство.

[2] Общепринятое различение типов внутренней речи — зрительного, слухового и моторного — не касается приведенных нами соображений. Внутри каждого из типов речь протекает тотальными импрессиями — зрительными, слуховыми, моторными.

сов философии языка, в частности, например, проблемы высказывания.

Так, думается нам, может быть разрешена проблема взаиморазграничения психики и идеологии на единой объемлющей их территории идеологического знака.

Этим разрешением диалектически снимается и противоречие между психологизмом и антипсихологизмом.

Антипсихологизм прав, отказываясь выводить идеологию из психики. Более того, психику должно выводить из идеологии. Психология должна опираться на науку об идеологиях. Слово должно было сначала родиться и созреть в процессе социального общения организмов, чтобы затем войти в организм и стать внутренним словом.

Однако прав и психологизм. Нет внешнего знака без внутреннего знака. Внешний знак, неспособный войти в контекст внутренних знаков, т. е. неспособный быть понятым и пережитым, перестает быть знаком, превращаясь в физическую вещь.

Идеологический знак жив своим психическим осуществлением так же, как и психическое осуществление живо своим идеологическим наполнением. Психическое переживание — это внутреннее, становящееся внешним; идеологический знак— внешнее, становящееся внутренним. Психика в организме — экстерриториальна. Это — социальное, проникшее в организм особи. И все идеологическое — экстерриториально в социально-экономической области, ибо идеологический знак, находящийся вне организма, должен войти во внутренний мир, чтобы осуществить свое знаковое значение.

Между психикой и идеологией существует, таким образом, неразрывное диалектическое взаимодействие: *психика снимает себя, уничтожается, становясь идеологией, и идеология снимает себя, становясь психикой*; внутренний знак должен освободиться от своей поглощенности психическим контекстом (био-биографическим), перестать быть субъективным переживанием, чтобы стать идеологическим знаком; идеологический знак должен погрузиться в стихию внутренних субъективных знаков, зазвучать субъективными тонами, чтобы остаться живым знаком, а не попасть в почетное положение непонятой музейной реликвии.

Это диалектическое взаимодействие внутреннего и внешнего знака — психики и идеологии — неоднократно привлекало внимание мыслителей, однако не находило правильного понимания и адекватного выражения.

В последнее время наиболее глубокий и интересный анализ этого взаимодействия дал, ныне покойный, философ и социолог Георг Зиммель.

Зиммель воспринял это взаимодействие в характерной для современного буржуазного мышления форме — как «трагедию культуры», точнее, трагедию творящей культуру субъективной личности. Творящая личность, по Зиммелю, уничтожает себя, свою субъективность и «личностность» в ею же созданном объективном продукте. Рождение объективной культурной ценности обусловливается смертью субъективной души.

Мы не будем здесь входить в подробности зиммелевского анализа всей этой проблемы, анализа, содержащего немало тонких и интересных наблюдений[1]. Отметим только основной недостаток концепции Зиммеля.

Между психикой и идеологией — для Зиммеля — существует непреодолимый разрыв: *он не знает знака как общей и для психики, и для идеологии формы действительности.* Кроме того, будучи социологом, он, тем не менее, совершенно *недооценивает сплошной социальности как психической, так и идеологической действительности.* Ведь и та, и другая действительность являются преломлением одного и того же социально-экономического бытия. В результате живое диалектическое противоречие между психикой и бытием превращается для Зиммеля в инертную, неподвижную антиномию, в «трагедию». Эту неизбежную антиномию он тщетно пытается преодолеть с помощью метафизически окрашенной динамики жизненного процесса.

Только на почве материалистического монизма возможно диалектическое разрешение всех подобных противоречий. На иной почве приходится эти противоречия или игнорировать, закрывать на них глаза, или они превращаются в безысходную антиномию, в трагический тупик[2].

---

[1] В русском переводе имеются две работы Зиммеля, посвященные этому вопросу: «Трагедия культуры» («Логос», 1911—1912 гг., кн. II—III) и вышедшая отдельной книжкой с предисловием проф. Святловского: «Конфликты современной культуры» («Начатки знаний», Петроград, 1923 г.). Его последняя книга, трактующая ту же проблему с точки зрения философии жизни: «Lebensanschauung», 1919 г. Та же идея является лейтмотивом книги Зиммеля о Гете, а отчасти также и его книг о Ницше, о Шопенгауэре и работ о Рембрандте и о Микеланджело (статья о Микеланджело имеется на русском языке, см. «Логос», 1911—1912 гг., кн. I). Различные способы изживания этого конфликта между душой и ее творческой объективацией во внешнем продукте культуры Зиммель кладет в основу своей типологии творческих индивидуальностей.

[2] В русской философской литературе проблемы объективации субъективной психики в идеологических продуктах и возникающие отсюда противоречия и конфликты разрабатывал и разрабатывает Федор Степун (см. его работы в «Логосе», 1911—1912 гг., кн. II—III и 1913 г., кн. II—IV). И у него эти проблемы даны в трагическом и даже мистическом освещении. Он не умеет развернуть их в плане объективной материальной действительности, где они только и могут найти продуктивное и трезвое диалектическое разрешение.

В слове, в каждом высказывании, как бы ничтожно оно ни было, всегда снова и снова осуществляется этот живой диалектический синтез психического и идеологического, внутреннего и внешнего. В каждом речевом акте субъективное переживание уничтожается в объективном факте сказанного слова-высказывания, а сказанное слово субъективируется в акте ответного понимания, чтобы рано или поздно породить ответную реплику. Каждое слово, как мы уже знаем, является маленькою ареною скрещения и борьбы разнонаправленных социальных акцентов. Слово в устах единичной особи является продуктом живого взаимодействия социальных сил.

Так психика и идеология диалектически проникают друг друга в едином и объективном процессе социального общения.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ПУТИ МАРКСИСТСКОЙ ФИЛОСОФИИ ЯЗЫКА

Глава I

ДВА НАПРАВЛЕНИЯ ФИЛОСОФСКО-ЛИНГВИСТИЧЕСКОЙ МЫСЛИ

Постановка проблемы реальной данности языка. Основоположения первого направления философско-лингвистической мысли (индивидуалистического субъективизма). Представители индивидуалистического субъективизма. Основоположения второго направления философско-лингвистической мысли (абстрактного объективизма). Исторические корни второго направления. Современные представители абстрактного объективизма. Заключение.

Что же является предметом философии языка? Где нам его найти? Какова его конкретная материальная данность? Как методически подойти к ней?

В первой, вводной, части нашей работы мы совершенно еще не касались этих конкретных вопросов. Мы говорили о философии языка, о философии слова. Но что такое язык, что такое слово?

Дело идет, конечно, не о сколько-нибудь законченном определении этих основных понятий. Такое определение может быть дано в конце, а не в начале работы (поскольку вообще научное определение может быть закончено). В начале исследовательского пути приходится строить не определение, а методологические указания: необходимо прежде всего нащупать реальный предмет — объект исследования, необходимо выделить из окружающей действительности и предварительно наметить его границы. В начале исследовательского пути ищет не столько мысль, строящая формулы и определения, сколько — глаза и руки, пытающиеся нащупать реальную наличность предмета.

Но вот в нашем-то случае глаза и руки оказываются в затруднительном положении: глаза ничего не видят, а руками нечего осязать. В лучшем положении, по-видимому, находится ухо, которое претендует слышать слово, слышать язык. И действительно, соблазны *поверхностного фонетического эмпиризма* очень сильны в науке о языке. Изучение звуковой стороны слова занимает непропорционально большое место в лингвистике, часто задает ей тон и в большинстве случаев ведется вне

всякой связи с действительным существом языка как идеологического знака[1].

Задача выделения действительного объекта философии языка—задача далеко не легкая. При всякой попытке ограничения объекта исследования, сведения его к определенному и обозримому, компактному предметно-материальному комплексу мы теряем самое существо изучаемого предмета, знаковую и идеологическую природу его. Если мы выделим звук как чисто *акустический феномен*, то языка, как специфического предмета, у нас не будет.Звук всецело входит в компетенцию физики. Если мы прибавим *физиологический процесс производства звука* и процесс его звукового *восприятия*, то все же не приблизимся к своему объекту. Если мы присоединим *переживание* (внутренние знаки) говорящего и слушающего, мы получим два психофизических процесса, протекающих в двух разных психофизиологических субъектах, и один физический звуковой комплекс, осуществляющийся в природе по законам физики. Языка как специфического объекта все нет как нет. А между тем, мы уже захватили три сферы действительности — физическую, физиологическую, психологическую — и получили в достаточной мере сложный, многосоставный комплекс. Но этот комплекс лишен души, отдельные части его лежат рядом и не объединены никакой внутренней, проникающей его насквозь закономерностью, превращающей его именно в явление языка.

Что же необходимо прибавить к нашему и без того уже сложному комплексу?

Этот комплекс прежде всего необходимо включить в гораздо более широкий и объемлющий его комплекс — в единую сферу организованного социального общения. Чтобы наблюдать процесс горения, нужно поместить тело в воздушную среду. Чтобы наблюдать явление языка, нужно поместить производящего и слушающего звук субъектов, равно как и самый звук, в социальную атмосферу. Ведь необходимо, чтобы и говорящий и слушающий принадлежали к одному языковому коллективу, к определенно организованному обществу. Необходимо далее, чтобы наши два индивида были обняты единством ближайшей социальной ситуации, т. е. чтобы они сошлись

---

[1] Это прежде всего касается экспериментальной фонетики, которая изучает в сущности не звук языка, а звук, производимый артикуляционными органами и воспринимаемый ухом совершенно независимо от места данного звука в системе языка и в конструкции высказывания. И в остальной фонетике громадные массы фактического материала, собранного с громадным и кропотливым трудом — нигде и никак методологически не локализованы.

как человек с человеком на определенной почве. Только на определенной почве возможен словесный обмен, как бы ни была обща и, так сказать, окказиональна данная общая почва.

Итак, *единство социальной среды и единство ближайшего социального события общения* — совершенно необходимые условия для того, чтобы указанный нами физико-психо-физиологический комплекс мог иметь отношение к языку, к речи, мог бы стать фактом языка-речи. Два биологических организма в условиях чисто природной среды никакого речевого факта не породят.

Но в результате нашего анализа мы, вместо желанного ограничения объекта исследования, пришли к необычайному его расширению и усложнению.

Ведь организованная социальная среда, в которую мы включили наш комплекс, и ближайшая социальная ситуация общения сами по себе необычайно сложны, проникнуты многосторонними и многообразнейшими связями, между которыми не все одинаково необходимы для понимания языковых фактов, не все являются конститутивными моментами языка. Наконец, вся эта многообразная система явлений и отношений, процессов и вещей нуждается в приведении к одному знаменателю; все линии ее должны быть сведены к одному центру — фокусу языкового процесса.

Мы дали в предыдущем разделе экспозицию проблемы языка, т. е. развернули самую проблему и заключенные в ней трудности. Как же разрешалась эта проблема в философии языка и в общей лингвистике, какие вехи уже поставлены на пути ее разрешения, по которым можно было бы ориентироваться?

В нашу задачу не входит обстоятельный очерк истории или хотя бы только современного положения философии языка и общей лингвистики. Мы ограничимся здесь лишь общим анализом основных магистралей философской и лингвистической мысли нового времени[1].

В философии языка и в соответствующих методологических отделах общей лингвистики мы наблюдаем *два основных*

---

[1] Специальных работ по истории философии языка до сих пор нет. Основательные исследования существуют лишь по истории философии языка и лингвистики в древности, например: Steinthal «Geschichte der Sprachwissenschaft bei den Griechen und Römern» (1890). Для европейской истории существуют лишь монографии об отдельных мыслителях и лингвистах (о Гумбольдте, о Вундте, о Марти и пр.). Они будут указаны нами в своем месте. Единственный пока солидный очерк истории философии языка и лингвистики читатель найдет в книге Ernst'a Cassirer'a: «Philosophie der symbolischen Formen». Erster Teil: Die Sprache (1923). Kap. I: «Das Sprachproblem in der Geschichte der Philosophie» (S. 55—121).

направления в разрешении нашей проблемы, т. е. *проблемы выделения и ограничения языка как специфического объекта изучения.* Это влечет за собою, конечно, коренное различие данных двух направлений и по всем остальным вопросам науки о языке.

Первое направление можно назвать *индивидуалистическим субъективизмом* в науке о языке, второе — *абстрактным объективизмом* [1].

Первое направление рассматривает как основу языка (в смысле всех без исключения языковых явлений) индивидуально-творческий акт речи. Индивидуальная психика является источником языка. Законы языкового творчества — а язык есть непрерывное становление, непрерывное творчество — суть законы индивидуально-психологические, их-то и должен изучать лингвист и философ языка. Осветить языковое явление значит свести его к осмысленному (часто даже разумному) индивидуально творческому акту. Все остальное в работе лингвиста имеет лишь предварительный, констатирующий, описательный, классифицирующий характер, телько подготовляет подлинное объяснение языкового явления из индивидуально-творческого акта или служит практическим целям научения готовому языку. Язык с этой точки зрения аналогичен другим идеологическим явлениям, в особенности же искусству, эстетической деятельности.

Основная точка зрения на язык первого направления сводится, таким образом, к следующим четырем основоположениям:

1) *язык есть деятельность, непрерывный творческий процесс созидания* (energeia [2]), *осуществляемый индивидуальными речевыми актами;*

2) *законы языкового творчества суть индивидуально-психологические законы;*

3) *творчество языка — осмысленное творчество, аналогичное художественному;*

На русском языке краткий, но основательный очерк современного положения лингвистики и философии языка дан С. Шором в статье: «Кризис современной лингвистики» («Яфетический сборник», V, 1927 г., стр. 32—71). Общий обзор, далеко не полный, социологических работ по лингвистике дан в статье М. Н. Петерсона: «Язык как социальное явление» («Ученые записки Института языка и литературы» — Ранион, М., 1927, стр. 3—21).

[1] Оба названия, как и все такого рода названия, далеко не покрывают всей полноты и сложности обозначаемых направлений. Особенно, как мы увидим, не адекватно обозначение первого направления. Лучших названий мы, однако, не можем придумать.

[2] В оригинале — здесь и далее по-др.-гр. (Прим. изд.)

4) *язык как готовый продукт* (ergon), *как устойчивая система языка* (словарь, грамматика, фонетика) *является как бы омертвевшим отложением,* застывшей лавой языкового творчества, *абстрактно конструируемым лингвистикой в целях практического научения языку как готовому орудию.*

Самым значительным представителем первого направления, заложившим его основы, был Вильгельм Гумбольдт[1].

Влияние могучей гумбольдтовской мысли выходит далеко за пределы охарактеризованного нами направления. Можно сказать, что вся послегумбольдтовская лингвистика до наших дней находится под его определяющим влиянием. Вся гумбольдтовская мысль в ее целом не укладывается, конечно, в рамки выставленных нами четырех основоположений, она шире, сложней и противоречивее, поэтому Гумбольдт и мог сделаться наставником далеко расходящихся друг от друга направлений. Но все же основное ядро гумбольдтовских идей является наиболее сильным и глубоким выражением основных тенденций охарактеризованного нами первого направления[2].

В русской лингвистической литературе важнейшим представителем первого направления является *А. А. Потебня* и круг его последователей[3].

---

[1] Предшественниками его в этом направлении были Гаман и Гердер.

[2] Свои идеи по философии языка Гумбольдт изложил в работе: «Über die Verschiedenheiten des menschlichen Sprachbaues» (Vorstudie zur Einleitung zum Kawiwerk); Gesamm. Schriften (Akademie-Ausgabe), Bd. VI. Есть очень старый русский перевод П. Билярского: «О различии организмов человеческого языка» (1859 г.). О Гумбольдте имеется очень обширная литература. Назовем книгу Р. Гайма: «Вильгельм фон Гумбольдт», имеющуюся в русском переводе. Из более новых исследований назовем книгу Ed. Spranger'a «Wilhelm von Humboldt» (Berlin, 1909).

О Гумбольдте и его значении для русской лингвистической мысли читатель найдет в книге Б. М. Энгельгардта: «А. Н. Веселовский» (Пгр., 1922 г.). Недавно вышла очень острая и интересная книга Г. Шпета «Внутренняя форма слова (этюды и вариации на тему Гумбольдта)». Он пытается восстановить подлинного Гумбольдта из-под наслоений традиционного истолкования (есть несколько традиций истолкования Гумбольдта). Концепция Шпета, очень субъективная, лишний раз доказывает, насколько сложен и противоречив Гумбольдт; вариации вышли очень свободными.

[3] Его основная философская работа: «Мысль и язык» (переиздана Укр. Ак. Наук). Последователи Потебни, так наз. «Харьковская школа» (Овсянико-Куликовский, Лезин, Харциев и др.), издавали непериодическую серию: «Вопросы теории и психологии творчества», где имеются посмертные работы самого Потебни и статьи о нем его учеников. В основной книге Потебни имеется изложение идей Гумбольдта.

Последующие представители первого направления уже не возвышались до философского синтеза и глубины Гумбольдта. Направление значительно мельчало, особенно в связи с переходом на позитивистический и поверхностно-эмпиристический лад. Уже у *Штейнталя* нет гумбольдтовского размаха. На смену зато приходит большая методологическая четкость и систематичность. И для Штейнгаля индивидуальная психика является источником языка, а законы языкового развития — психологическими законами[1].

Чрезвычайно мельчают основоположения первого направления в эмпиристическом психологизме *Вундта* и его последователей[2] Основоположение Вундта сводится к тому, что все без исключения факты языка поддаются объяснению с точки зрения индивидуальной психологии на волюнтаристической основе[3]. Правда, Вундт, так же как и Штейнталь, считает язык фактом «психологии народов» (Völkerpsychologie), или «этнической психологией»[4]. Однако вундтовская психология народов слагается из психик отдельных индивидов; для него всей полнотою реальности обладают только они.

Все эти объяснения фактов языка, мифа, религии сводятся, в конце концов, к чисто психологическим объяснениям. Присущую всякому идеологическому знаку особую, чисто социологическую закономерность, не сводимую ни к каким индивидуально-психологическим законам, Вундт не знает.

В настоящее время первое направление философии языка, сбросив с себя путы позитивизма, снова достигло могучего расцвета и широты в понимании своих задач в школе *Фослера.*

Школа Фослера (так называемая «idealistische Neuphilologie») бесспорно является одним из могущественнейших направлений современной философско-лингвистической мысли. И положительный, специальный вклад ее последователей в лингвистику (в романистику и германистику) также чрезвычайно велик. Достаточно назвать, кроме самого Фослера, таких его последователей, как Leo Spitzer, Lorck, Lerch и др. О каждом из них нам придется неоднократно говорить.

---

[1] В основе штейнталевской концепции лежит психология Гербарта, пытающаяся построить все здание человеческой психики из элементов представлений, объединенных ассоциативными связями.

[2] Связь с Гумбольдтом здесь уже очень слабая.

[3] В основу психики волюнтаризм полагает волевой элемент.

[4] Термин «этническая психология» предложил Г. Шпет в замену буквального перевода немецкого термина: «Völkerpsychologie» — «психология народов». Последний термин действительно совершенно неудовлетворителен, и обозначение Г. Шпета представляется нам весьма удачным. См. Г. Шпет: «Введение в этническую психологию» (Гос. Акад. Худ. Наук, М., 1927 г.). В книге дана основательная критика концепции Вундта, но собственное построение Г. Шпета совершенно неприемлемо.

Общая философско-лингвистическая концепция Фослера и его школы вполне характеризуется выставленными нами четырьмя положениями первого направления. Школу Фослера прежде всего определяет решительный и принципиальный *отказ от лингвистического позитивизма,* не видящего ничего дальше языковой формы (преимущественно фонетической как наиболее «позитивной») и элементарного психофизиологического акта ее порождения[1]. В связи с этим на первый план выдвигается *осмысленно-идеологический* момент в языке. Основным двигателем языкового творчества является *«языковой вкус»* — особая разновидность художественного вкуса. Языковой вкус — это и есть та лингвистическая истина, которой жив язык и которую должен вскрыть лингвист в каждом явлении языка, чтобы действительно понять и объяснить данное явление.

«Притязать на научный характер может только та история языка, — говорит Фослер, — которая рассматривает весь прагматический причинный ряд лишь с целью найти в нем особый эстетический ряд, так, чтобы лингвистическая мысль, лингвистическая истина, лингвистический вкус, лингвистическое чувство или, как говорит Гумбольдт, внутренняя форма языка в своих физически, психически, политически, экономически и вообще культурно обусловленных изменениях стала ясной и понятной»[2].

Таким образом, как мы видим, все факторы, определяющие какое-нибудь языковое явление (физические, политические, экономические и др.), по Фослеру, не имеют прямого значения для лингвиста, ему важен лишь художественный смысл данного языкового явления.

Такова чисто эстетическая концепция языка у Фослера. «Идея языка, — говорит он, — по существу есть поэтическая идея, истина языка есть художественная истина, есть осмысленная красота»[3].

Вполне понятно, что не готовая система языка в смысле совокупности унаследованных наличных фонетических, грамматических и иных форм, а *индивидуальный творческий акт* речи (Sprache als Rede) будет для Фослера основным явлением, основной реальностью языка. Отсюда следует, что в каждом речевом акте с точки зрения становления языка важны не те грамматические формы, которые общи, устойчивы и

---

[1] Критике лингвистического позитивизма посвящена первая основополагающая философская работа Фослера: «Positivismus und Idealismus in der Sprachwissenschaft» (Heidelberg, 1904).

[2] «Грамматика и история языка» — «Логос», книга 1, 1910 г., стр. 170.

[3] Там же, стр. 167.

наличны во всех других высказываниях данного языка, а важна индивидуальная, лишь для данного высказывания характерная, стилистическая конкретизация и модификация этих абстрактных форм.

Только эта стилистическая индивидуация языка в конкретном высказывании исторична и творчески продуктивна. Именно здесь происходит становление языка, отлагающееся затем в грамматических формах: *все, что становится грамматическим фактом, было раньше фактом стилистическим*. К этому сводится фослерианская идея *примата стилистики над грамматикой*[1]. Большинство лингвистических исследований, вышедших из школы Фослера, лежат на границе лингвистики (в узком смысле) и стилистики. В каждой форме языка фослерианцы последовательно стараются вскрыть ее осмысленно-идеологические корни.

Таковы в основном философско-лингвистические воззрения Фослера и его школы[2].

Из современных представителей первого направления философии языка следует еще назвать итальянского философа и литературоведа Бенедетто Кроче, ввиду его большого влияния на современную философско-лингвистическую литературоведческую мысль Европы.

Идеи Бенедетто Кроче во многих отношениях близки к фослеровским. И для него язык является эстетическим феноменом. Основной, ключевой термин его концепции — *выражение* (экспрессия). Всякое выражение в основе своей художественно. Отсюда лингвистика как наука о выражении par exellence (каковым является слово) совпадает с эстетикой. Отсюда

[1] К критике этой идеи мы вернемся в последующем.

[2] Основные философско-лингвистические работы Фослера, выходившие после уже названной нами книги его, собраны в «Philosophie der Sprache» (1926). Это — последняя книга Фослера. Она дает полное представление об его философской и общелингвистической концепции. Из лингвистических работ, характерных для фослеровского метода, укажем его «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» (1913). Полную библиографию Фослера (до 1922 г.) читатель найдет в посвященном ему сборнике: «Festschrift für K. Vossler» (1922). На русском языке имеются две статьи: уже цитированная нами статья и «Отношение истории языков к истории литературы» («Логос», 1912—1913 г., книга I—II). Обе статьи дают понятие об основах фослеровской концепции. В русской лингвистической литературе воззрения Фослера и его последователей совершенно не подвергались обсуждению. Некоторые указания даны лишь в статье В. М. Жирмунского о современном немецком литературоведении («Поэтика», сб. III, 1927 г., «Academia»). В указывавшемся нами очерке Р. Шора о школе Фослера упоминается лишь в примечании. О работах последователей Фослера, имеющих философское и методологическое значение, мы скажем в своем месте.

следует, что и для Кроче индивидуальный речевой акт выражения является основным феноменом языка [1].

Переходим к характеристике второго направления философско-лингвистическоей мысли.

Организующий центр всех языковых явлений, делающий их специфическим объектом особой науки о языке, перемещается для второго направления в совершенно иной момент — в *языковую систему как систему фонетических, грамматических и лексических форм языка*.

Если для первого направления язык — это вечно текущий поток речевых актов, в котором ничто не остается устойчивым и тождественным себе, то для второго направления язык — это та неподвижная радуга, которая высится над потолком.

Каждый индивидуальный творческий акт, каждое высказывание — индивидуально и неповторимо, но в каждом высказывании есть элементы, тождественные с элементами других высказываний данной речевой группы. Именно эти, *тождественные* и потому *нормативные* для всех высказываний моменты — фонетические, грамматические, лексические — и обеспечивают единство данного языка и его понимание всеми членами данного коллектива.

Если мы возьмем какой-нибудь звук языка, например фонему «а» в слове «радуга», то этот звук, производимый произносительным физиологическим аппаратом индивидуального организма, индивидуален и неповторим у каждой говорящей особи. Сколько людей, произносящих слово «радуга», столько своеобразных «а» в этом слове (пусть ухо наше и не хочет и не может улавливать это своеобразие). Ведь физиологический звук (т. е. звук, произведенный индивидуальным физиологическим аппаратом) в конце концов так же неповторим, как неповторим дактилоскопический отпечаток пальца данной особи, как неповторим индивидуальный химический состав крови каждого индивида (хотя наука до сих пор и не может еще дать индивидуальной формулы крови).

Однако существенны ли с точки зрения языка все эти индивидуальные особенности звука «а», обусловленные, скажем, неповторимой формой языка, неба и зубов говорящих индивидов (допустим, что мы были бы в силах уловить и зафиксировать все эти особенности)? — Конечно, совершенно несущественны. Существенна именно *нормативная тождественность*

---

[1] На русском языке имеется первая часть эстетики Б. Кроче: «Эстетика как наука о выражении и как общая лингвистика», М., 1920. Уже в пределах этой переведенной части излагаются общие воззрения Кроче на язык и на лингвистику.

данного звука во всех случаях произнесения слова «радуга». Именно эта нормативная тождественность (ведь фактической тождественности нет) конституирует единство фонетической системы языка (в разрезе данного мгновения его жизни) и обеспечивает понимание данного слова всеми членами языкового коллектива. Эта нормативно тождественная фонема «а» и является языковым фактом, — специфическим объектом науки о языке.

То же самое справедливо и относительно всех других элементов языка. И здесь мы всюду встретим ту же нормативную тождественность языковой формы (напр., какого-нибудь синтаксического шаблона) и индивидуально-неповторимое осуществление и наполнение данной формы в единичном речевом акте. Первый момент входит в систему языка; второй — является фактом индивидуальных процессов говорения, обусловленных случайными (с точки зрения языка как единой системы) физиологическими, субъективно-психологическими и иными, не поддающимися точному учету, факторами.

Ясно, что система языка в вышеохарактеризованном смысле является совершенно независимой от каких бы то ни было индивидуально-творческих актов, намерений и мотивов. С точки зрения второго направления не может быть уже речи об осмысленном творчестве языка говорящим индивидом[1]. Язык противостоит индивиду как ненарушимая, непререкаемая норма, которую с точки зрения индивида можно только принять. Если же индивид не воспринимает какую-либо языковую форму как непререкаемую норму, то она и не существует для него, как форма языка, а просто как естественная возможность его индивидуального психофизического аппарата. Индивид получает систему языка от говорящего коллектива совершенно готовой, и всякое изменение внутри этой системы лежит за пределами его индивидуального сознания. Индивидуальный акт произнесения каких-либо звуков становится языковым актом лишь в меру своей приобщенности к неизменной для каждого данного момента и непререкаемой для индивида языковой системе.

Какова же закономерность, господствующая внутри языковой системы?

Эта закономерность чисто *имманентная* и *специфическая,* не сводимая ни к какой идеологической закономерности, худо-

---

[1] Хотя, как мы увидим, на почве рационализма охарактеризованные нами основы второго направления философско-лингвистической мысли совмещались с идеей искусственно созданного разумного универсального языка.

жественной или иной. Все формы языка в разрезе данного момента — т. е. *синхронически* — взаимно необходимы друг для друга, друг друга дополняют, превращая язык в стройную систему, проникнутую специфическою языковою закономерностью. Специфическая *лингвистическая закономерность, в отличие от идеологической закономерности* — познания, художественного творчества, этоса, — *не может стать мотивом индивидуального сознания.* Эту систему индивиду нужно принять и усвоить всю, как она есть, внутри нее нет места для каких-либо оценивающих идеологических различений: хуже, лучше, красиво, безобразно и т. п. В сущности имеется лишь один языковой критерий: правильно — неправильно, причем под *языковою правильностью* понимается только *соответствие данной формы нормативной системе языка.* Ни о каком языковом вкусе, ни о какой лингвистической истине говорить, следовательно, не приходится. С точки зрения индивида, лингвистическая закономерность произвольна, т. е. лишена какой бы то ни было естественной и идеологической (например, художественной) понятности и мотивированности. Так, между фонетическим обликом слова и его значением нет никакой естественной связи, нет и художественного соответствия (correspondence).

Если язык как система форм независим от каких бы то ни было творческих импульсов и деяний индивида, то, следовательно, он является продуктом коллективного творчества, — он социален и потому, как всякое социальное учреждение, нормативен для каждого отдельного индивида.

Однако система языка, являющаяся единой и неизменной в размере каждого данного момента, т. е. синхронически, изменяется, становится в процессе исторического становления данного говорящего коллектива. Ведь установленная нами нормативная тождественность фонемы различна для различных эпох развития данного языка. Одним словом, язык имеет свою историю. Как же может быть понята эта история с точки зрения второго направления?

Для второго направления философско-лингвистической мысли в высшей степени характерен своеобразный *разрыв между историей и системой языка* в ее внеисторическом, синхроническом (для данного момента) разрезе. С точки зрения основоположений второго направления этот дуалистический разрыв совершенно непреодолим. Между логикой, управляющей системою языковых форм в данный момент, и логикой (или, вернее, алогикой) исторического изменения этих форм не может быть ничего общего. Это две разных логики; или, если мы признаем логикой одну из них, то алогикой, т. е. голым нарушением принятой логики, будет другая.

В самом деле, лингвистические формы, составляющие систему языка, как мы знаем, взаимно необходимы и взаимно дополняют друг друга подобно членам одной и той же математической формулы. Изменение одного члена системы создает новую систему, как изменение одного из членов формулы создает новую формулу. Та связь и закономерность, которая управляет отношениями между членами данной формулы, конечно, не распространяется и не может распространяться на отношения данной системы или формулы к другой, следующей за ней, системе или формуле.

Здесь можно употребить грубую аналогию, тем не менее достаточно точно выражающую отношение второго направления философско-лингвистической мысли к истории языка. Уподобим систему языка формуле для решения бинома Ньютона. Внутри этой формулы господствует строгая закономерность, подчиняющая себе и делающая неизменным каждый ее член. Допустим, что ученик, употребляющий формулу, переврал ее (например, перепутал показатели и знаки), получилась новая формула со своею внутренней закономерностью (формула эта для решения бинома, конечно, непригодна, но для нашей аналогии это неважно). Между первой и второй формулой нет уже никакой математической связи, аналогичной той, которая господствует внутри каждой формулы.

Совершенно так же обстоит дело и в языке. Систематические отношения, связывающие две языковых формы в системе языка (в разрезе данного момента) ничего общего не имеют с теми отношениями, которые связывают одну из этих форм с ее видоизмененным обликом в последующий момент исторического становления языка. Германец до XVI века спрягал: ich was; wir waren. Современный немец спрягает ich war; wir waren. «Ich was» изменилось, таким образом, в «ich war». Между формами «ich was» — «wir waren» и «ich war» — «wir waren» существует систематическая лингвистическая связь и взаимодополнение. Они связаны и дополняют друг друга, в частности, как единственное и множественное число первого лица в спряжении одного и того же глагола. Между «ich was» — «ich war» и между «ich war» (современность) и «wir waren» (XV—XVI вв.) существует иное, совершенно особое отношение, ничего общего с первым, систематическим, не имеющее. Форма «ich war» образовалась по аналогии с «wir waren»: вместо «ich was» под влиянием «wir waren» стали говорить (отдельные индивиды) «ich war»[1]. Явление стало массовым,

[1] Англичанин до сих пор говорит: «I was».

и в результате индивидуальная ошибка превратилась в языковую норму.

Таким образом, между двумя рядами:

I. **«ich was — wir waren»** (в синхроническом разрезе, скажем, XV века) или — **«ich war — wir waren»** (в синхроническом разрезе, скажем, XIX века) и

II. **«ich was — ich war»** — (**wir waren** — в качестве фактора, обусловливающего аналогию) существуют глубочайшие принципиальные различия. Первый — синхронический — ряд управляется систематичоской языковой связью взаимно необходимых и взаимно дополняющих друг друга элементов, Этот ряд противостоит индивиду как непререкаемая языковая норма. Второй ряд — исторический (или *диахронический*) — управляется своей особой закономерностью, строго говоря, закономерностью ошибки по аналогии.

Логика истории языка — логика индивидуальных ошибок или отклонений, переход от «ich was» к «ich war» совершается за пределами индивидуального сознания. Переход непроизволен и не замечается, и лишь постольку он может осуществиться. В каждую данную эпоху может существовать лишь одна языковая норма: или «ich was», или «ich war». Рядом с нормой может существовать лишь ее нарушение, но не другая, противоречащая норма (поэтому-то и не может быть языковых «трагедий»). Если нарушение не ощущается и, следовательно, не исправляется, и если есть почва, благоприятствующая тому, что данное нарушение становится массовым фактом — в нашем случае такой благоприятной почвой является аналогия, — то такое нарушение становится новой языковой нормой.

Итак, между логикой языка как системы форм и логикой его исторического становления нет никакой связи, нет ничего общего. В обеих сферах господствуют совершенно разные закономерности, разные факторы. То, что осмысливает и объединяет язык в его синхроническом разрезе, нарушается и игнорируется в разрезе диахроническом. *Настоящее языка и история языка не понимают и не способны понять друг друга.*

Мы замечаем здесь, в этом именно пункте, глубочайшее различие между первым и вторым направлением философии языка. Ведь для первого направления сущность языка и раскрывалась именно в его истории. Логика языка — это вовсе не логика повторения нормативно тождественной формы, а вечное обновление, индивидуализация этой формы стилистически

неповторимым высказыванием. *Действительность языка и есть его становление.* Между данным моментом жизни языка и его историей господствует полное взаимопонимание. И там, и здесь господствуют одни и те же идеологические мотивы: говоря языком Фослера — *языковый вкус творит единство языка в разрезе данного момента; он же творит и обеспечивает единство исторического становления языка.* Переход от одной исторической формы к другой совершается, в основном, в пределах индивидуального сознания, ибо, как мы знаем, по Фослеру, каждая грамматическая форма была первоначально свободной стилистической формой.

Различие между первым и вторым направлением очень ярко иллюстрируется следующим: себетождественные формы, образующие неподвижную систему языка (ergon), были для первого направления только омертвевшим отложением действительного языкового становления—истинной сущности языка, осуществляемого неповторимым индивидуально-творческим актом. Для второго направления как раз эта система себетождественных форм становится сущностью языка; индивидуально-творческое же преломление и варьирование языковых форм являются для него только шлаками языковой жизни, вернее, языковой монументальной недвижимости, лишь неуловимыми и ненужными обертонами основного неизменного тона языковых форм.

Основная точка зрения второго направления может быть, в общем, сведена к следующим основоположениям:

1) *Язык есть устойчивая неизменная система нормативно тождественных языковых форм, преднаходимая индивидуальным сознанием* и непререкаемая для него.

2) *Законы языка суть специфические лингвистические законы связи между языковыми знаками внутри данной замкнутой языковой системы.* Эти законы объективны по отношению ко *всякому* субъективному сознанию.

3) *Специфические языковые связи не имеют ничего общего с идеологическими ценностями* (художественными, познавательными и иными). Никакие идеологические мотивы не обосновывают явления языка. Между словом и его значением нет ни естественной и понятной сознанию, ни художественной связи.

4) *Индивидуальные акты говорения являются, с точки зрения языка, лишь случайными преломлениями и вариациями или просто искажениями нормативно тождественных форм;* но именно эти акты индивидуального говорения объясняют историческую изменчивость языковых форм, которая как та-

кая с точки зрения системы языка, иррациональна и бессмысленна. *Между системой языка и его историей нет ни связи, ни общности мотивов. Они чужды друг другу.*

Читатель усматривает, что сформулированные нами четыре основоположения второго направления философско-лингвистической мысли являются антитезисами соответствующих четырех основоположений первого направления.

Исторические пути второго направления прослеживать гораздо труднее. Здесь, на заре нашего времени, не было представителя и основоположника, по масштабу равного В. Гумбольдту. Корни направления нужно искать в рационализме XVII и XVIII веков. Эти корни уходят в картезианскую почву[1].

Свое первое и очень отчетливое выражение идеи второго направления получили у Лейбница в его концепции универсальной грамматики.

Для всего рационализма характерна идея *условности, произвольности языка* и не менее характерно *сопоставление системы языка с системой математических знаков.* Не отношение знака к отражаемой им реальной действительности или к порождающему его индивиду, а *отношение знака к знаку внутри замкнутой системы*, однажды принятой и допущенной, интересует математически направленный ум рационалистов. Другими словами, их интересует только *внутренняя логика самой системы знаков*, взятой как в алгебре, совершенно независимо от наполняющих знаки идеологических значений. Рационалисты еще склонны учитывать точку зрения понимающего, но менее всего — говорящего, как выражающего свою внутреннюю жизнь субъекта. Ведь менее всего математический знак можно истолковать как выражение индивидуальной психики, — а математический знак был для рационалистов идеалом всякого знака, в том числе и языкового. Все это и нашло свое яркое выражение в лейбницевской идее универсальной грамматики[2].

[1] Глубокая внутренняя связь второго направления с картезианским мышлением и с общим мировоззрением неоклассицизма с его культом отрешенной, рациональной и неподвижной формы — не подлежит сомнению. У самого Декарта нет работ по философии языка, но имеются характерные высказывания в письмах. О них см. указанную главу работы Кассирера. стр.. 67—68.

[2] С соответствующими взглядами Лейбница можно познакомиться по основательнейшей книге Кассирера: «Leibniz'system in seinen wissenschaftlichen Grundlagen» (Marburg, 1902).

Следует здесь же отметить, что примат точки зрения понимающего над точкой зрения говорящего остается постоянною особенностью второго направления. Отсюда, на почве этого направления, нет подхода к проблеме выражения, а следовательно, и к проблеме становления мысли и субъективной психики в слове (одна из основных проблем первого направления).

В более упрощенной форме идея языка, как системы условных произвольных знаков, в своей основе рациональных, разрабатывалась в XVIII веке представителями эпохи просвещения.

Рожденные на французской почве, идеи абстрактного объективизма и до настоящего времени господствуют по преимуществу во Франции[1]. Минуя промежуточные этапы развития, перейдем прямо к характеристике современного положения второго направления.

Наиболее ярким выражением абстрактного объективизма в настоящее время является так называемая «Женевская школа» *Фердинанда де Соссюра* (ныне уже давно умершего). Представители этой школы, особенно *Шарль Байи* (Bally), являются крупнейшими лингвистами современности. Ф. де Соссюр придал всем идеям второго направления поразительную ясность и отчетливость. Его формулировки основных понятий лингвистики могут считаться классическими. Кроме того, Соссюр безбоязненно доводил свои мысли до конца, придавая исключительную четкость и резкость всем основным линиям абстрактного объективизма.

Насколько школа Фослера непопулярна в России, настолько популярна и влиятельна у нас школа Соссюра. Можно сказать, что большинство представителей нашей лингвистической мысли находятся под определяющим влиянием Соссюра и его учеников — Байи и Сешей (Sechehaye)[2].

На характеристике взглядов Соссюра, ввиду их основополагающего значения для всего второго направления и для русской лингвистической мысли, мы остановимся несколько по-

---

[1] Интересно отметить, что в отличие от второго, первое направление по преимуществу развивалось и развивается на немецкой почве.

[2] В духе «Женевской школы» поставлена работа Р. Шора: Язык и общество» (М., 1926). Горячим апологетом основных идей Соссюра Шор выступает и в уже указанной нами статье: «Кризис современной лингвистики». Последователем «Женевской школы» является В. В. Виноградов. Две русских лингвистических школы: школа Фортунатова и так называемая «Казанская школа» (Крушевский и Бодуэн де Куртенэ), являющиеся ярким выражением лингвистического формализма, всецело укладываются в рамки очерченного нами второго направления философско-лингвистической мысли.

дробнее. Правда, и здесь мы ограничимся лишь основными философско-лиингвистическими положениями Соссюра[1].

Соссюр исходит из различения трех аспектов языка: *языка-речи* (langage); *языка как системы форм* (langue) и индивидуального речевого акта — *высказывания* (parole). Язык (в смысле системы форм) и высказывание (parole) являются составными элементами языка-речи, понятой в смысле совокупности всех без исключения явлений — физических, физиологических и психологических, — участвующих в осуществлении речевой деятельности.

Речь (langage) не может быть, по Соссюру, объектом лингвистики. Она, взятая сама по себе, лишена внутреннего единства и самостоятельной автономной законности. Она — композитна, гетерогенна. В ее противоречивом составе трудно разобраться. Невозможно, оставаясь на ее почве, дать отчетливое определение языковому факту. Речь не может быть исходным пунктом лингвистического анализа.

Какой же правильный методологический путь для выделения специфического объекта лингвистики предлагает избрать Соссюр? Предоставим слово ему самому:

«Мы думаем, — говорит он, — что есть лишь одно разрешение всех этих противоречий (имеются в виду противоречия внутри «langage», как исходного пункта анализа. — *В. В.): с самого начала нужно встать на почву языка* (langue) *и принять его за норму всех других явлений речи* (langage). В самом деле, среди стольких противоречий и двойственностей язык один кажется способным к автономному определению, и он один дает для мышления достаточную точку опоры»[2].

В чем же, по Соссюру, принципиальное различие между речью (langage) и языком (langue)?

«Взятая в ее целом, речь многообразна и гетероклитна. Относясь к нескольким областям, будучи одновременно явлением физическим, физиологическим и психическим, речь принадлежит еще области индивидуальной и области социальной; она не дает себя классифицировать ни по какой опреде-

---

[1] Основная теоретическая работа Соссюра, изданная после его смерти учениками: Ferdinand de Saussure «Cours de Linguistique Générale» (1916). В дальнейшем цитируем по второму изданию 1922 г. Приходится удивляться, что книга Соссюра, при ее большом влиянии, до сих пор не переведена на русский язык. Краткое изложение воззрений Соссюра можно найти в указанной статье Шора и в статье Петерсона: «Общая лингвистика», «Печ. и Рев.», 1923, кн. 6.

[2] Ferdinand de Saussure. Cours de Linguistique Générale, 1922, p. 24. (В оригинале в сноске тот же текст дан на французском языке. Мы не делаем этого по техническим причинам. — Прим. изд.)

ленной категории гуманитарных явлений, ибо неизвестно, как найти ее единство.

Язык, наоборот, есть и целое в себе, и принцип классификации. Как только мы дадим ему первое место среди явлений речи, мы внесем естественный строй и порядок в конгломерат, не поддающийся никакой иной классификации»[1].

Таким образом, по Соссюру, необходимо исходить из языка как системы нормативно тождественных форм, и освещать все явления речи в направлении к этим устойчивым и автономным (самозаконным) формам.

Отличив язык от речи в смысле совокупности всех без исключения проявлений речевой способности, Соссюр переходит далее к отличению его от актов индивидуального говорения, т. е. от высказывания (parole).

«Отличая язык от высказывания (parole), мы, тем самым отличаем: 1) то, что социально, от того, что индивидуально; 2) то, что существенно, от того, что побочно и более или менее случайно.

Язык не является деятельностью говорящей личности, он — продукт, который личность пассивно регистрирует; язык никогда не допускает преднамеренности, и субъективная рефлексия имеет место лишь в целях различения и классификации, о чем речь впереди.

Высказывание, напротив, индивидуальный акт воли и мышления, в котором мы можем различить: 1) сочетания, посредством которых говорящая личность утилизирует систему языка для выражения своих индивидуальных мыслей; 2) психофизический механизм, позволяющий высказывать эти сочетания»[2].

Высказывание не может быть объектом лингвистики, как ее понимает Соссюр[3]. Лингвистическим элементом в высказывании являются лишь наличные в нем нормативно тождественные формы языка. Все остальное — «побочно и случайно».

---

[1] Op. cit. p. 25. (См. предыдущую сноску.)

[2] Op. cit. p. 30. (См. сноску 1 на предыдущей стр.)

[3] Соссюр, правда, допускает возможность особой лингвистики высказывания («linguistique de la parole»), но какой она может быть, об этом Соссюр молчит. Вот что он говорит по этому поводу: «Надо избрать либо один либо другой из двух путей и следовать по избранному пути независимо от другого; следовать двумя путями одновременно нельзя.

Можно в крайнем случае сохранить название лингвистики за обеими этими дисциплинами и говорить о лингвистике речи. Но ее нельзя смешивать с лингвистикой в собственном смысле, с той лингвистикой, единственным объектом которой является язык». — Фердинанд де Соссюр. Труды по языкознанию. — М., 1977. — С. 58. Перевод с фр. А. М. Сухотина, переработанный по третьему французскому изданию А. А. Холодовичем. В оригинале текст приводится на французском языке.

Подчеркнем основной тезис Соссюра: *язык противостоит высказыванию, как социальное — индивидуальному.* Высказывание, таким образом, сплошь индивидуально. В этом, как мы увидим дальше, — proton pseudos Соссюра и всего направления абстрактного объективизма.

Индивидуальный акт говорения — высказывания, столь решительно оставленный за бортом лингвистики, возвращается, однако, как необходимый фактор в истории языка[1]. Эта последняя, в духе всего второго направления, резко противопоставляется Соссюром языку как синхронической системе. В истории господствует «высказывание» с его индивидуальностью и случайностью, поэтому ею правит совершенно иная закономерность, чем та, которая правит системой языка.

«Потому-то, — говорит Соссюр, — синхронический «феномен» ничего не имеет общего с диахроническим... *Синхроническая лингвистика* должна исследовать логические и психологические отношения, связующие элементы, которые существуют и образуют систему, так, как они существуют для одного и того же социального сознания.

Диахроническая лингвистика, наоборот, должна изучать отношения между элементами, следующими друг за другом и не существующими одновременно для одного и того же социального сознания; эти элементы замещают друг друга во времени и не образуют между собой никакой системы»[2].

Воззрения Соссюра на историю чрезвычайно характерны для того духа рационализма, который до настоящего времени господствует во втором направлении философско-лингвистической мысли и для которого история — иррациональная стихия, искажающая логическую чистоту языковой системы.

Соссюр и его школа — не единственная вершина абстрактного объективизма в наше время. Рядом с ней возвышается другая — социологическая школа Дюркгейма, представленная в лингвистике такой фигурой, как Мейе (Meillet). Мы не будем останавливаться на характеристике его воззрений[3]. Они всецело укладываются в рамки выставленных основоположений второго направления. И для Мейе язык является социаль-

---

[1] Соссюр говорит: «...все диахроническое в языке является таковым лишь через речь. Именно в речи источник всех изменений». — Труды по языкознанию. — С. 130. (В оригинале текст приводится на фр. языке. — Прим. изд.)

[2] F. de Saussure. Cours de Linguistique Générale. — P. 129, 140. (См. сноску на стр. 64.)

[3] Взгляды Мейе в связи с основами социологического метода Дюркгейма излагает в указанной нами статье («Язык как социальное явление») М. Н. Петерсон. Там же и библиография.

ным явлением не в своем качестве процесса, а как устойчивая система языковых норм. Внешность языка по отношению к каждому индивидуальному сознанию и его принудительность являются, по Мейе, основными социальными характеристиками языка.

Таковы воззрения второго направления философско-лингвистической мысли — абстрактного объективизма.

В рамках изложенных нами направлений не умещаются, конечно, многие школы и течения лингвистической мысли, иногда очень значительные. В нашу задачу входило лишь проведение основных магистралей. Все остальные явления философско-лингвистической мысли носят, по отношению к двум разобранным направлениям, смешанный или компромиссный характер или вообще лишены всякой сколько-нибудь принципиальной ориентации.

Возьмем такое крупное явление лингвистики второй половины XIX века, каким было движение *младограмматиков*. Младограмматики в части своих основоположений связаны с первым направлением, стремясь к его нижнему — физиологическому пределу. Индивид, творящий язык, для них в основном — физиологическая особь. С другой стороны, младограмматики на психо-физиологической почве пытались построить незыблемые естественно-научные законы языка, совершенно изъятые из какого бы то ни было индивидуального произвола говорящих.

Отсюда младограмматическая идея звуковых законов (Lautgesetze) [1].

В лингвистике, как и во всякой частной науке, существуют два основных способа избавить себя от обязанности и труда ответственного и принципиального, следовательно, философского мышления. Первый путь—принять сразу все принципиальные точки зрения (академический эклектизм), второй — не принять ни одной принципиальной точки зрения и провозгласить «факт» как последнюю основу и критерий всякого познания (академический позитивизм).

Философский эффект обоих способов избавиться от философии — один и тот же, ибо и при второй точке зрения в оболочке «факта» проникают в исследование все без исключения возможные принципиальные точки зрения. Выбор одного из

[1] Основными работами младограмматического направления являются: Osthoff. «Das physiologische und psychologische Moment in der sprachlichen Formenbildung» (Berlin, 1879). Программа младограмматиков изложена в предисловии к книге: Osthoff und Brugmann. «Morphologische Untersuchungen», I, Lpz., 1878.

этих способов всецело зависит от темперамента исследователя: эклектики — более благодушны, позитивисты — ворчливее.

В лингвистике очень много явлений и целых школ (школ— в смысле научной технической выучки), избавляющих себя от труда философско-лингвистической ориентации. Они, конечно, не вошли в пределы настоящего очерка.

О некоторых лингвистах и философах языка, не упомянутых здесь, например об Отто Дитрихе и Антоне Марти, нам придется упоминать в дальнейшем при анализе проблемы речевого взаимодействия и проблемы значения.

В начале главы мы поставили *проблему выделения и ограничения языка как специфического объекта исследования.* Мы попытались обнаружить те вехи, которые уже поставлены по пути разрешения этой проблемы предшествующими направлениями философско-лингвистической мысли. В результате мы оказались перед двумя рядами вех, идущих в прямо противоположных направлениях: перед *тезисами индивидуалистического субъективизма и антитезисами абстрактного объективизма.*

Что же является истинным центром языковой действительности: индивидуальный речевой акт — высказывание — или система языка? И какова форма бытия языковой действительности: непрерывное творческое становление или неподвижная неизменность себетождественных норм?

Глава II

ЯЗЫК, РЕЧЬ И ВЫСКАЗЫВАНИЕ

Объективен ли язык как система нормативных себетождественных форм? Язык как система норм и действительная точка зрения говорящего сознания. Какая языковая реальность лежит в основе лингвистической системы? Проблема чужого, иноязычного слова. Ошибки абстрактного объективизма. Итоги.

В предшествующей главе мы постарались дать совершенно объективное изображение двух направлений философско-лингвистической мысли. Теперь мы должны подвергнуть их основательному критическому анализу. Только после этого мы сможем ответить на поставленный в конце предыдущей главы вопрос.

Начнем с критики второго направления — абстрактного объективизма.

Прежде всего поставим вопрос: в какой степени система языковых себетождественных норм, т. е. система языка, как ее понимают представители второго направления, — реальна?

Никто из представителей абстрактного объективизма не приписывает, конечно, системе языка материальной, вещной реальности. Она, правда, выражена в материальных вещах — знаках, но, как система нормативно тождественных форм, она реальна лишь в качестве социальной нормы.

Представители второго направления постоянно подчеркивают — и это является одним из их основоположений, — что система языка является внешним для *всякого* индивидуального сознания объективным фактом, от этого сознания не зависящим. Но ведь как система себетождественных неизменных норм она является таковой лишь для индивидуального сознания и с точки зрения этого сознания.

В самом деле, если мы отвлечемся от субъективного индивидуального сознания, противостоящего языку как системе непререкаемых для него норм, если мы взглянем на язык действительно объективно, так сказать, со стороны, или, точнее, стоя над языком, — то никакой неподвижной системы себетождественных норм мы не найдем. Наоборот, мы окажемся перед непрерывным становлением норм языка.

С действительно объективной точки зрения, пытающейся взглянуть на язык совершенно независимо от того, как он является данному языковому индивиду в данный момент, язык

представляется непрерывным потоком становления. Для стоящей над языком объективной точки зрения — нет реального момента, в разрезе которого она могла бы построить синхроническую систему языка.

Синхроническая система, таким образом, *с объективной точки зрения, не соответствует ни одному реальному моменту процесса исторического становления.* И действительно, для историка языка, стоящего на диахронической точке зрения, синхроническая система нереальна и служит лишь условным масштабом для регистрирования отклонений, совершающихся в каждый реальный момент времени.

Итак, синхроническая система языка существует лишь с точки зрения субъективного сознания говорящего индивида, принадлежащего к данной языковой группе в любой момент исторического времени. С объективной точки зрения она не существует ни в один реальный момент исторического времени. Мы можем допустить, что для Цезаря, пишущего свои творения, латинский язык являлся неизменной, непререкаемой системой себетождественных норм, но для историка латинского языка — в тот же самый момент, когда работал Цезарь, шел непрерывный процесс языковых изменений (пусть историк и не может их зафиксировать).

В аналогичном положении находится всякая система социальных норм. Она существует лишь в отношении к субъективному сознанию индивидов, принадлежащих к данному, управляемому нормами коллективу. Такова система моральных норм, правовых, норм эстетического вкуса (ведь есть такие) и т. п. Конечно, эти нормы различны: различна степень их обязательности, различна широта их социального диапазона, различна степень их социальной существенности, определяемая близостью к базису, и т. д. Но род их бытия, как норм, один и тот же, — они существуют лишь в отношении к субъективным сознаниям членов данного коллектива.

Следует ли отсюда, что самое это отношение субъективного сознания к языку, как системе объективных непререкаемых норм лишено всякой объективности? Конечно, нет. Правильно понятое, это отношение может быть объективным фактом.

Если мы скажем: язык как система непререкаемых и неизменных норм существует объективно, — мы совершим грубую ошибку. Но если мы скажем, что язык в отношении к индивидуальному сознанию является системою непререкаемых и неизменных норм, что таков modus существования языка для каждого члена данного языкового коллектива, — то мы выразим этим совершенно объективное отношение. Другой вопрос,

правильно ли установлен самый факт, действительно ли для сознания говорящего язык является лишь как неизменная и неподвижная система норм? Этот вопрос мы пока оставляем открытым. Но дело, во всяком случае, идет об установлении некоторого объективного отношения.

Как же смотрят на дело сами представители абстрактного объективизма? Утверждают ли они, что язык есть система объективных и непререкаемых себетождественных норм, или же они дают себе отчет в том, что таков лишь modus существования языка для субъективного сознания говорящих на данном языке?

На этот вопрос приходится ответить следующим образом.

Большинство представителей абстрактного объективизма склонны утверждать *непосредственную реальность, непосредственную объективность языка как системы нормативно тождественных форм.* У этих представителей второго направления абстрактный объективизм прямо превращается в *гипостазирующий абстрактный объективизм.* Другие представители того же направления (как Мейе) более критичны и дают себе отчет в абстрактном и условном характере языковой системы. Однако никто из представителей абстрактного объективизма не пришел к ясному и отчетливому пониманию того рода деятельности, которая присуща языку как объективной системе. В большинстве случаев эти представители балансируют между двумя пониманиями слова «объективный» в применении к системе языка: между пониманием его, так сказать, в кавычках (с точки зрения субъективного сознания говорящего) и пониманием его без кавычек (с объективной точки зрения). Так поступает, между прочим, и Соссюр; отчетливого разрешения вопроса он не дает.

Но теперь мы должны спросить, действительно ли язык существует для субъективного сознания говорящего как объективная система непререкаемых нормативно тождественных форм, правильно ли понял абстрактный объективизм точку зрения субъективного сознания говорящего? Или иначе: таков ли действительно modus бытия языка в субъективном речевом сознании?

На этот вопрос мы должны ответить отрицательно. Субъективное сознание говорящего работает с языком вовсе не как с системой нормативно тождественных форм. Такая система является лишь абстракцией, полученной с громадным трудом, с определенной познавательной и практической установкой. Система языка — продукт рефлексии над языком, совершае-

мый вовсе не сознанием самого говорящего на данном языке и вовсе не в целях самого непосредственного говорения.

В самом деле, ведь установка говорящего совершается в направлении к данному конкретному высказыванию, которое он произносит. Дело идет для него о применении нормативно тождественной формы (допустим пока ее наличность) в данном конкретном контексте. Центр тяжести для него лежит не в тождественности формы, а в том новом и конкретном значении, которое она получает в данном контексте. Для говорящего важна не та сторона формы, которая одна и та же во всех без исключения случаях ее применения, каковы бы эти случаи ни были. Нет, для говорящего важна та сторона языковой формы, благодаря которой она может фигурировать в данном конкретном контексте, благодаря которой она становится адекватным знаком в условиях данной конкретной ситуации.

Выразим это так: *для говорящего языковая форма важна не как устойчивый и всегда себе равный сигнал, а как всегда изменчивый и гибкий знак*. Такова точка зрения говорящего.

Но ведь говорящий должен учитывать и точку зрения слушающего и понимающего. Может быть именно здесь вступает в силу нормативная тождественность языковой формы?

И это не совсем так. Основная задача понимания отнюдь не сводится к моменту узнания примененной говорящим языковой формы как знакомой, как «той же самой» формы, как мы отчетливо узнаем, например, еще не достаточно привычный сигнал, или как мы узнаем форму мало знакомого языка. Нет, задача понимания в основном сводится не к узнанию примененной формы, а именно к пониманию ее в данном конкретном контексте, к пониманию ее значения в данном высказывании, т. е. к пониманию ее новизны, а не к узнанию ее тождественности.

Другими словами, и понимающий, принадлежащий к тому же языковому коллективу, установлен на данную языковую форму не как на неподвижный, себетождественный сигнал, а как на изменчивый и гибкий знак.

Процесс понимания ни в коем случае нельзя путать с процессом узнания. Они — глубоко различны. Понимается только знак, узнается же — сигнал. Сигнал — внутренне неподвижная, единичная вещь, которая на самом деле ничего не замещает, ничего не отражает и не преломляет, а просто является техническим средством указания на тот или иной пред-

мет (определенный и неподвижный) или на то или иное действие (также определенное и неподвижное!)[1]. Сигнал ни в коем случае не относится к области идеологического, сигнал относится к миру технических вещей, к орудиям производства в широком смысле слова. Еще дальше от идеологии отстоят те сигналы, с которыми имеет дело рефлексология. Эти сигналы не имеют никакого отношения к производственной технике, взятые в отношении к организму испытуемого животного, т. е. как сигналы для него. В этом качестве своем они являются не сигналами, а раздражителями особого рода; орудиями производства они являются лишь в человеческих руках экспериментатора. Только печальное недоразумение и неискоренимые навыки механического мышления были причиною того, что эти «сигналы» пытались сделать чуть ли не ключом к пониманию языка и человеческой психики (внутреннего слова).

Пока какая-нибудь языковая форма является только сигналом и как такой сигнал узнается понимающим, она отнюдь не является для него языковой формой. Чистой сигнальности нет даже и в начальных фазах научения языку. И здесь форма ориентирована в контексте, и здесь она является знаком, хотя момент сигнальности и коррелятивный ему момент узнания наличны.

Таким образом, конститутивным моментом для языковой формы, как для знака, является вовсе не ее сигнальная себетождественность, а ее специфическая изменчивость, и для понимания языковой формы конститутивным моментом является не узнание «того же самого», а понимание в собственном смысле слова, т. е. ориентация в данном контексте и в данной ситуации, ориентация в становлении, а не «ориентация» в каком-то неподвижном пребывании[2].

Из всего этого, конечно, не следует, что момента сигнализации и коррелятивного момента узнания нет в языке. Он есть, но он не конститутивен для языка как такого. Он диалектически снят, поглощен новым качеством знака (т. е. языка как такового). Сигнал — узнание диалектически сняты в родном

[1] Интересные и остроумные различения сигнала и комбинации сигналов (например, в морском деле) и языковой формы и комбинации языковых форм в связи с проблемой синтаксиса дает Karl Bühler в своей статье «Vom Wesen der Syntax» в «Festschrift für Karl Vossler». S. 61—69.

[2] Мы увидим дальше, что именно такое понимание в собственном смысле, понимание становления, лежит в основе ответа, т. е. в основе речевого взаимодействия. Между пониманием и ответом вообще нельзя провести резкой границы. Всякое понимание отвечает, т. е. переводит понимаемое в новый контекст, в возможный контекст ответа.

языке, т. е. именно для языкового сознания члена данного языкового коллектива. В процессе усвоения чужого языка сигнальность и узнание еще, так сказать, ощущаются, еще не преодолены, язык еще не стал до конца языком. Идеал усвоения языка — поглощение сигнальности чистой знаковостью, узнания — чистым пониманием[1].

Языковое сознание говорящего и слушающего — понимающего, таким образом, практически в живой речевой работе имеет дело вовсе не с абстрактной системой нормативно-тождественных форм языка, а с языком-речью, в смысле совокупности возможных контекстов употребления данной языковой формы. Слово противостоит говорящему на родном языке — не как слово словаря, а как слово разнообразнейших высказываний языкового сочлена A, сочлена B, сочлена C и т. д., и как слово многообразнейших собственных высказываний. Нужна особая, специфическая установка, чтобы прийти отсюда к себетождественному слову лексикологической системы данного языка, — к слову словаря. Поэтому-то член языкового коллектива нормально никогда не чувствует гнета непрекаемых для него языковых норм. Свое нормативное значение форма языка осуществляет лишь в редчайшие моменты конфликта, не характерные для речевой жизни (для современного человека — почти исключительно в связи с письменной речью).

К этому нижно прибавить еще одно, в высшей степени существенное соображение. Речевое сознание говорящих, в сущности, с формой языка как такой и с языком как таким вообще не имеет дела.

В самом деле, языковая форма, данная говорящему, как мы только что показали, лишь в контексте определенных высказываний, дана, следовательно, лишь в определенном идео-

[1] Выставленное нами положение практически, но без правильного теоретического осознания лежит в основе всех здоровых методов обучения живому иностранному языку. Ведь сущность этих методов сводится в основном к тому, чтобы знакомить обучающихся с каждой языковой формой лишь в конкретном контексте и в конкретной ситуации. Так, напр., знакомят со словом лишь путем ряда разных контекстов, где фигурирует то же слово. Благодаря этому момент узнания тождественного слова с самого начала диалектически сочетается и поглощается моментами его контекстуальной изменчивости, разности и новизны. Между тем, слово, выделенное из контекста, записанное в тетрадочку и выученное соответственно с русским значением, так сказать, сигнализуется, становится единично-вещным и косным, а в процессе его понимания слишком сильным становится момент узнания. Коротко говоря, при правильной здоровой методике практического обучения, форма должна усвояться не в абстрактной системе языка как себетождественная форма, а в конкретной структуре высказывания как изменчивый и гибкий знак.

логическом контексте. Мы, в действительности, никогда не произносим слова и не слышим слова, а слышим истину или ложь, доброе или злое, важное или неважное, приятное или неприятное и т. д. *Слово всегда наполнено идеологическим или жизненным содержанием и значением.* Как такое мы его понимаем и лишь на такое, задевающее нас идеологически или жизненно, слово мы отвечаем.

Критерий правильности применяется нами к высказыванию лишь в ненормальных или специальных случаях (например, при обучении языку). Нормально, критерий языковой правильности поглощен чисто идеологическим критерием: правильность высказывания поглощается истинностью данного высказывания или его ложностью, его поэтичностью или пошлостью и т. п.[1]

Язык в процессе его практического осуществления неотделим от своего идеологического или жизненного наполнения. И здесь нужна совершенно особая, не обусловленная целями говорящего сознания, установка, чтобы абстрактно отделить язык от его идеологического или жизненного наполнения.

Если мы это абстрактное отделение возведем в принцип, если мы субстанциализуем отрешенную от идеологического наполнения языковую форму, как это делают некоторые представители второго направления, то мы снова придем к сигналу, а не к знаку языка-речи.

Разрыв между языком и его идеологическим наполнением — одна из глубочайших ошибок абстрактного объективизма.

Итак, язык как система нормативно тождественных форм вовсе не является действительным модусом бытия языка для сознаний говорящих на нем индивидов. С точки зрения говорящего сознания и его живой практики социального общения нет прямого пути к системе языка абстрактного объективизма.

Чем же в таком случае является эта система?

С самого начала ясно, что система эта получена путем абстракции, что она слагается из элементов, абстрактно выделенных из реальных единиц речевого потока — высказываний. Всякая абстракция, чтобы быть правомерной, должна быть оправдана какой-нибудь определенной, теоретической и практической целью. Абстракция может быть продуктивной

---

[1] На этом основании, как мы увидим дальше, нельзя согласиться с Фослером в признании существования особого и определенного языкового вкуса, который не сливался бы каждый раз со специфическим идеологическим «вкусом» — художественным, познавательным, этическим и иным.

и непродуктивной, может быть продуктивной для одних целей и заданий и непродуктивной — для других.

Какие же цели лежат в основе лингвистической абстракции, приводящей к синхронической системе языка? С какой точки зрения эта система является продуктивной и нужной?

В основе тех лингвистических методов мышления, которые приводят к созданию языка как системы нормативно тождественных форм, лежит *практическая и теоретическая установка на изучение мертвых чужих языков, сохранившихся в письменных памятниках.*

Нужно со всею настойчивостью подчеркнуть, что эта филологическая установка в значительной степени определила все лингвистическое мышление европейского мира. Над трупами письменных языков сложилось и созрело это мышление; в процессе оживления этих трупов были выработаны почти все основные категории, основные подходы и навыки этого мышления.

Филологизм является неизбежною чертою всей европейской лингвистики, обусловленной историческими судьбами ее рождения и развития. Как бы далеко в глубь времен мы ни уходили, прослеживая историю лингвистических категорий и методов, мы всюду встречаем филологов. Филологами были не только александрийцы, филологами были и римляне, и греки (Аристотель — типичный филолог); филологами были индусы.

Мы можем прямо сказать: *лингвистика появляется там и тогда, где и когда появились филологические потребности.* Филологическая потребность родила лингвистику, качала ее колыбель и оставила свою филологическую свирель в ее пеленах. Пробуждать мертвых должна эта свирель. Но для овладения живой речью в ее непрерывном становлении у нее не хватает звуков.

Совершенно справедливо на эту филологическую сущность индоевропейского лингвистического мышления указывает академик Н. Я. Марр:

«Индоевропейская лингвистика, располагая объектом исследования, уже сложившимся и давно оформившимся, именно, индоевропейскими языками исторических эпох, исходя при этом почти исключительно от окоченелых форм письменных языков, притом в первую очередь мертвых языков, естественно не могла сама выявить процесс возникновения вообще речи и происхождения ее видов»[1].

Или в другом месте:

[1] Н. Я. Марр. «По этапам яфетической теории», 1926 г., стр. 269.

«Наибольшее препятствие (для изучения первобытной речи.— *В. В.*) чинит не трудность самих изысканий или недостаток в наглядных данных, а наше научное мышление, скованное традиционным филологическим или культурно-историческим мировоззрением, не воспитанное на этнолого-лингвистическом восприятии живой речи, ее безбрежно-свободных творческих переливов»[1].

Слова академика Н. Я. Марра справедливы, конечно, не только по отношению к индоевропеистике, задающей тон всей современной лингвистике, но и относительно всей лингвистики, какую мы знаем в истории. Лингвистика, как мы сказали, всюду дитя филологии.

Руководимая филологическою потребностью, лингвистика всегда исходила из законченного монологического высказывания — древнего памятника — как из последней реальности. В работе над таким мертвым монологическим высказыванием или, вернее, рядом таких высказываний, объединенных для нее только общностью языка, — лингвистика вырабатывала свои методы и категории.

Но ведь монологическое высказывание является уже абстракцией, правда, так сказать, естественной абстракцией. Всякое монологическое высказывание, в том числе и письменный памятник, является неотрывным элементом речевого общения. Всякое высказывание, и законченное письменное, на что-то отвечает и установлено на какой-то ответ. Оно — лишь звено в единой цепи речевых выступлений. Всякий памятник продолжает труд предшественников, полемизирует с ними, ждет активного, отвечающего понимания, предвосхищает его и т. п. Всякий памятник есть реально неотделимая часть или науки, или литературы, или политической жизни. Памятник как всякое монологическое высказывание установлен на то, что его будут воспринимать в контексте текущей научной жизни или текущей литературной действительности, — т. е. в становлении той идеологической сферы, неотрывным элементом которой он является.

Филолог-лингвист вырывает его из этой реальной сферы, воспринимает так, как если бы он был самодовлеющим, изолированным целым, и противопоставляет ему не активное идеологическое понимание, а совершенно пассивное понимание, в котором не дремлет ответ, как во всяком истинном понимании. Этот изолированный памятник как документ языка филолог соотносит с другими памятниками в общей плоскости данного языка.

---

[1] Op. cit., стр. 94—95.

В процессе такого сопоставления и взаимоосвещения в плоскости языка изолированных монологических высказываний и слагались методы и категории лингвистического мышления.

Мертвый язык, изучаемый лингвистом, конечно, — чужой для него язык. Поэтому система лингвистических категорий менее всего является продуктом познавательной рефлексии языкового сознания говорящего на данном языке. Это не рефлексия над ощущением родного языка, нет, это рефлексия сознания, пробивающегося, прокладывающего себе дороги в неизведанный мир чужого языка.

Неизбежно пассивное понимание филолога-лингвиста проецируется и в самый, изучаемый с точки зрения языка, памятник, как если бы этот последний был сам установлен на такое понимание, как если бы он и писался для филолога.

Результатом этого является в корне ложная теория понимания, лежащая не только в основе методов лингвистической интерпретации текста, но и в основе всей европейской семасиологии. Все учение о значении и теме слова насквозь пронизано ложной идеей *пассивного понимания,* понимания слова, активный ответ на которое заранее и принципиально исключен.

Мы увидим далее, что такое понимание с заранее исключенным ответом в сущности вовсе не является пониманием языка-речи. Это последнее понимание неотделимо сливается с заниманием активной позиции по отношению к сказанному и понимаемому. Для пассивного понимания характерно как раз отчетливое ощущение момента тождества языкового знака, т. е. вещно-сигнальное восприятие его и в соответствии с этим — преобладание момента узнания.

Итак, *мертвый-письменный-чужой язык* — вот действительное определение языка лингвистического мышления.

Изолированное-законченное-монологическое высказывание, отрешенное от своего речевого и реального контекста, противостоящее не возможному активному ответу, а пассивному пониманию филолога, — вот последняя данность и исходный пункт лингвистического мышления.

Рожденное в процессе исследовательского овладения мертвым чужим языком, лингвистическое мышление служило еще и иной, уже не исследовательской, а преподавательской цели: не разгадывать язык, а научать разгаданному языку. Памятники из эвристических документов превращаются в школьный, классический образец языка.

Это вторая основная задача лингвистики — создать аппарат, необходимый для научения разгаданному языку, так

сказать, кодифицировать его в направлении к целям школьной передачи — наложила свой существенный отпечаток на лингвистическое мышление. *Фонетика, грамматика, словарь* — эти три раздела системы языка, три организующих центра лингвистических категорий — сложились в русле указанных двух задач лингвистики — *эвристической* и *педагогической*.

Кто такой филолог?

Как ни глубоко различны культурно-исторические облики лингвистов, от индусских жрецов до современного европейского ученого языковеда, филолог всегда и всюду — разгадчик чужих «тайных» письмен и слов и учитель, передатчик разгаданного или полученного по традиции.

Первыми филологами и первыми лингвистами всегда и всюду были *жрецы*. История не знает ни одного исторического народа, священное писание которого или предание не было бы в той или иной степени иноязычным и непонятным профану. Разгадывать тайну священных слов и было задачей жрецов-филологов.

На этой почве родилась и древнейшая философия языка: ведийское учение о слове, учение о Логосе древнейших греческих мыслителей и библейская философия слова.

Для того чтобы понять эти философемы, нельзя ни на один миг забывать, что это — *философемы чужого слова*. Если бы какой-нибудь народ знал только свой родной язык, если бы слово для него совпадало с родным словом его жизни, если бы в его кругозор не входило загадочное чужое слово, слово чужого языка, то такой народ никогда не создал бы подобных философем[1]. Поразительная черта: от глубочайшей древности и до сегодняшнего дня философия слова и лингвистическое мышление зиждутся на специфическом ощущении чужого, иноязычного слова и на тех задачах, которые ставит именно чужое слово сознанию — разгадать и научить разгаданному.

Ведийский жрец и современный филолог-лингвист зачарованы и порабощены в своем мышлении об языке одним и тем же явлением — явлением чужого иноязычного слова.

Свое слово совсем иначе ощущается, точнее, оно обычно вовсе не ощущается как слово, чреватое всеми теми категори-

[1] Согласно ведийской религии священное слово — в том употреблении, какое дает ей «знающий», посвященный, жрец — становится господином всего бытия, и богов и людей. Жрец-«знающий» определяется здесь как повелевающий словом, — в этом все его могущество. Учение об этом содержится уже в Риг-Веде. Древнегреческая философема Логоса и александрийское учение о Логосе — общеизвестны.

ями, какие оно порождает в лингвистическом мышлении и какие оно порождало в философско-религиозном мышлении древних. Родное слово — «свой брат», оно ощущается как своя привычная одежда или, еще лучше, как та привычная атмосфера, в которой мы живем и дышим. В нем нет тайн; тайной оно могло бы стать в чужих устах, притом иерархически-чужих, в устах вождя, в устах жреца, но там оно становится уже другим словом, изменяется внешне или изъемлется из жизненных отношений (табу для житейского обихода или архаизация речи), если только оно уже с самого начала не было в устах вождя-завоевателя иноязычным словом. Только здесь рождается «Слово», только здесь — incipit philosophia, incipit philologia.

Ориентация лингвистики и философии языка на чужое иноязычное слово отнюдь не является случайностью или произволом со стороны лингвистики и философии. Нет, эта ориентация является выражением той огромной исторической роли, которую чужое слово сыграло в процессе созидания всех исторических культур. Эта роль принадлежала чужому слову во всех без исключения сферах идеологического творчества — от социально-политического строя до житейского этикета. Ведь именно чужое иноязычное слово приносило свет, культуру, религию, политическую организацию (шумеры — и вавилонские семиты; яфетиды — эллины; Рим, христианство — и варварские народы; Византия, «варяги», южно-славянские племена — и восточные славяне и т. п.). Эта грандиозная организующая роль чужого слова, приходившего всегда с чужой силой и организацией или преднаходимого юным народом-завоевателем на занятой им почве старой и могучей культуры, как бы из могил порабощавшей идеологическое сознание народа-пришельца, — привела к тому, что чужое слово в глубинах исторического сознания народов срослось с идеей власти, идеей силы, идеей святости, идеей истины и заставило мысль о слове преимущественно ориентироваться именно на чужое слово.

Однако философия языка и лингвистика и до настоящего времени вовсе не является объективным осознанием огромной исторической роли иноязычного слова. Нет, лингвистика до сих пор порабощена им; она является как бы последней докатившейся до нас волной когда-то животворного потока чужой речи, последним пережитком его диктаторской и культуротворческой роли.

Поэтому-то лингвистика, будучи сама продуктом иноязычного слова, очень далека от правильного понимания роли ино-

язычного слова в истории языка и языкового сознания. Наоборот, индогерманистика выработала такие категории понимания истории языка, которые совершенно исключают правильную оценку роли чужого слова. Между тем, роль эта, повидимому, огромна.

Идея *языкового скрещения, как основного фактора эволюции языков* со всею отчетливостью была выдвинута ак. Н. Я. Марром. Фактор языкового скрещения был признан им как основной и для разрешения проблемы происхождения языка.

«Скрещение вообще, — говорит Н. Я. Марр, — как фактор возникновения различных языковых видов и даже типов, скрещение — источник формации новых видов, наблюдено и прослеживается во всех яфетических языках, и это одно из важнейших достижений яфетического языкознания. ...Дело в том, что звукового языка — примитива, одноплеменного языка, не существует и, как увидим, не существовало, не могло существовать. Язык — создание общественности, возникшей на вызванном хозяйственно-экономическими потребностями взаимообщения племен, является отложением именно этой, всегда многоплеменной общественности...»[1].

В статье «О происхождении языка» ак. Н. Я. Марр говорит по нашему вопросу следующее:

«...Словом, подход к тому или иному языку так называемой национальной культуры как массовой родной речи всего населения ненаучен и ирреален, национальный язык всесословный, внеклассовый пока есть фикция. Этого мало. Как сословия на первых порах развития выходят из племен, — собственно племенных, также отнюдь не простых образований, —путем скрещения, так и конкретные племенные языки, тем более национальные языки, представляют скрещенные типы языков, скрещенные из простых элементов, тем или иным соединением которых и образован любой язык. Палеонтологический анализ человеческой речи далее определения этих племенных элементов не идет, но к ним решительно и определенно приводит яфетическая теория, так что вопрос о происхождении языка сводится к вопросу о возникновении этих элементов, представляющих собою не что иное, как племенные названия»[2].

Здесь мы только намечаем значение чужого слова для проблемы происхождения языка и его эволюции. Сами эти про-

[1] Н. Я. Марр. «По этапам яфетической теории», стр. 268.
[2] Там же, стр. 315—316.

блемы выходят за пределы нашей работы. Чужое слово нам важно как фактор, определивший философско-лингвистическое мышление о слове и все категории и подходы этого мышления.

Мы отвлекаемся здесь как от особенностей первобытного мышления чужого слова[1], так и от категорий древнейших фиемся наметить здесь лишь те особенности мышления о слове, которые отстоялись на протяжении веков и определяют собою современное лингвистическое мышление. Мы убедимся, что временное лингвистическое мышление. Мы убедимся, что именно эти категории и нашли свое наиболее яркое и четкое выражение в учении абстрактного объективизма.

Особенности восприятия чужого слова, как они легли в основу абстрактного объективизма, мы постараемся вкратце выразить в следующих положениях. Этим мы резюмируем предшествующее изложение и дополним его в ряде существенных пунктов[2].

1) Устойчивый себетождественный момент языковых форм превалирует над их изменчивостью.

2) Абстрактное превалирует над конкретным.

3) Абстрактная систематичность — над историчностью.

4) Формы элементов — над формами целого.

5) Субстанциализация изолированного языкового элемента вместо динамики речи.

6) Односмысленность и одноакцентность слова вместо его живой многосмысленности и многоакцентности.

7) Представление об языке как о готовой вещи, передаваемой от одного поколения к другому.

8) Неумение понять становление языка изнутри.

Остановимся вкратце на каждой из этих особенностей мышления чужого слова.

I. Первая особенность не нуждается в пояснении. Мы уже показали, что понимание своего языка направлено не на узнание тождественных элементов речи, а на понимание их ново-

---

[1] Так, первобытное магическое восприятие слова в значительной степени определяется чужим словом. Мы имеем в виду при этом всю совокупность относящихся сюда явлений.

[2] При этом не нужно забывать, что абстрактный объективизм в его новой формации является выражением того состояния чужого слова, когда оно уже в значительной степени утратило свою авторитетность и продуктивную силу. Кроме того, специфичность восприятия чужого слова ослаблена в абстрактном объективизме тем, что основные категории его мышления были распространены и на восприятие живых и родных языков. Ведь лингвистика изучает живой язык так, как если бы он был мертвым, и родной — так, как если бы он был чужим. Вследствие этого построения абстрактного объективизма столь отличны от древних философем чужого слова.

го контекстуального значения. Построение же системы себетождественных форм является необходимым и важным этапом в процессе расшифровывания и в процессе передачи чужого языка.

II. И второй пункт понятен на основании уже сказанного нами. Законченное монологическое высказывание является в сущности абстракцией. Конкретизация слова возможна лишь путем включения этого слова в реальный исторический контекст его первоначального осуществления. В изолированном монологическом высказывании оборваны как раз все те нити, которые связывали его со всею конкретностью исторического становления.

III. Формализм и систематичность являются типической чертою всякого мышления, направленного на готовый, так сказать, остановившийся объект.

Эта особенность мышления имеет многообразные проявления. Характерно, что систематизируется обычно (если не исключительно) чужая мысль. Творцы — зачинатели новых идеологических течений — никогда не бывают формалистическими систематизаторами их. Систематизировать начинает та эпоха, которая чувствует себя в обладании готовой и полученной авторитетной мыслью. Нужно, чтобы прошла творческая эпоха, только тогда начинается формалистическое систематизаторство — дело наследников и эпигонов, чувствующих себя в обладании чужим и отзвучавшим словом. Ориентация в становящемся потоке никогда не может быть формально систематизирующей. Поэтому-то всю свою полноту и силу формально-систематизирующее грамматическое мышление могло развить лишь на материале чужого мертвого языка, и притом лишь там, где этот язык до известной степени утратил свое обаяние, свой священный авторитетный характер. По отношению к живому языку формально систематическое грамматическое мышление неизбежно должно было занять консервативно-академическую позицию, т. е. трактовать живой язык так, как если бы он был завершен, готов, и, следовательно, враждебно относиться ко всякого рода языковым новшествам. Формально же систематическое мышление об языке несовместимо с живым историческим пониманием его. С точки зрения системы история всегда представляется лишь рядом случайных нарушений.

IV. Лингвистика, как мы видели, ориентируется на изолированное монологическое высказывание. Изучаются языковые памятники, которым противостоит пассивно понимающее сознание филолога. Вся работа протекает, таким образом, вну-

три границ данного высказывания. Границы же высказывания как целого ощущаются слабо или даже вовсе не ощущаются. Вся исследовательская работа уходит в изучение связей, имманентных внутренней территории высказывания. Все же проблемы, так сказать, внешней политики высказывания остаются вне рассмотрения, следовательно, все те связи, которые выходят за пределы данного высказывания как монологического целого. Вполне понятно, что самое целое высказывания и формы этого целого остаются за бортом лингвистического мышления. И действительно, лингвистическое мышление дальше элементов монологического высказывания не идет. Построение сложного предложения (периода) — вот максимум лингвистического охвата. Построение же целого высказывания лингвистика предоставляет ведению других дисциплин — риторике и поэтике. У лингвистики нет подхода к формам композиции целого. Поэтому-то между лингвистическими формами элементов высказывания и формами его целого нет непрерывного перехода и вообще нет никакой связи. Из синтаксиса мы только путем скачка попадаем в вопросы композиции. Это совершенно неизбежно, ибо формы целого высказывания можно ощутить и понять лишь на фоне других целых высказываний в единстве данной идеологической сферы. Так, формы художественного высказывания — произведения — можно понять лишь в единстве литературной жизни, в неразрывной связи с другими литературными же формами. Относя произведение к единству языка как системы, рассматривая его как языковой документ, мы утрачиваем подход к его формам как формам литературного целого. Между отнесением произведения к системе языка и отнесением его к конкретному единству литературной жизни — господствует полный разрыв, преодолеть который на почве абстрактного объективизма — невозможно.

V. Языковая форма является лишь абстрактно выделенным моментом динамического целого речевого выступления — высказывания. В кругу определенных лингвистических заданий такая абстракция является, конечно, совершенно правомерной. Однако, на почве абстрактного объективизма языковая форма субстанциализуется, становится как бы реально выделимым элементом, способным на собственное изолированное историческое существование. Это вполне понятно: ведь система как целое не может исторически развиваться. Высказывание как целое не существует для лингвистики. Следовательно, остаются лишь элементы системы, т. е. отдельные языковые формы. Они-то и могут претерпевать историю.

История языка, таким образом, оказывается историей отдельных языковых форм (фонетических, морфологических и иных), развивающихся вопреки системе как целого и помимо конкретных высказываний [1].

Совершенно справедливо об истории языка, как ее понимает абстрактный объективизм, говорит Фослер: «История языка, какую дает нам историческая грамматика, есть, грубо говоря, то же самое, что история одежды, не исходящая из понятия моды или вкуса времени, а дающая хронологически и географически упорядоченный список пуговиц, булавок, чулок, шляп и лент. В исторической грамматике эти пуговицы и ленты называются, например, ослабленным или полным t, глухим e, звонким d и т. д.» [2].

VI. Смысл слова всецело определяется его контекстом. В сущности, сколько контекстов употребления данного слова, — столько его значений [3]. При этом, однако, слово не перестает быть единым, оно, так сказать, не распадается на столько слов, сколько контекстов его употребления. Это единство слова обеспечивается, конечно, не только единством его фонетического состава, но и моментом единства, присущего всем его значениям. Как примирить принципиальную многосмысленность слова с его единством? — так можно, грубо и элементарно, формулировать основную проблему значения. Эта проблема может быть разрешена только диалектически. Как же поступает абстрактный объективизм? Момент единства слова для него как бы отвердевает и отрывается от принципиальной множественности его значений. Эта множественность воспринимается как окказиональные обертоны единого твердого и устойчивого значения. Направление лингвистического внимания прямо противоположно направлению живого понимания говорящих, причастных данному речевому потоку. Филолог-лингвист, сопоставляя контексты данного слова, делает установку на момент тождества употребления, ибо ему важно изъять данное слово как из того, так и из другого сопоставляемого контекста и дать ему определенность вне контекста, т. е. создать из него словарное слово. Этот процесс изолирования слова и стабилизации значения слова вне контекста — усиливается еще сопоставлением языков, т. е. подыс-

[1] Высказывание является лишь безразличной средой изменения языковой формы.

[2] См. указанную статью Фослера: «Грамматика и история языка», стр. 170.

[3] Мы отвлекаемся пока от различения значения и темы, о чем речь будет ниже (глава IV).

канием параллельного слова в другом языке. Значение в процессе лингвистической работы строится как бы на границе по крайней мере двух языков. Эта работа лингвиста осложняется еще тем, что он создает фикцию единого и реального предмета, соответствующего данному слову. Этот предмет един, тождественен себе, он и обеспечивает единство значения. Эта фикция буквальных реалий слова еще более содействует субстанциализации его значения. Диалектическое соединение единства значения с его множественностью становится на этой почве невозможным.

Глубочайшею ошибкою абстрактного объективизма является еще следующее: различные контексты употребления какого-нибудь одного слова мыслятся им как бы расположенными в одной плоскости. Контексты как бы образуют ряд замкнутых самодовлеющих высказываний, идущих в одном направлении. На самом же деле это далеко не так: контексты употребления одного и того же слова часто противостоят друг другу. Классическим случаем такого противостояния контекстов одного и того же слова являются реплики диалога. Здесь одно и то же слово фигурирует в двух взаимно сталкивающихся контекстах. Конечно, реплики диалога являются лишь наиболее ярким и наглядным случаем разнонаправленных контекстов. На самом же деле, всякое реальное высказывание в той или иной степени, в той или иной форме с чем-то соглашается или что-то отрицает. Контексты не стоят рядом друг с другом, как бы не замечая друг друга, но находятся в состоянии напряженного и непрерывного взаимодействия и борьбы. Это изменение ценностного акцента слова в разных контекстах совершенно не учитывается лингвистикой и не находит себе никакого отражения в учении о единстве значения. Этот акцент менее всего поддается субстанциализации, между тем именно многоакцентность слова и делает его живым. Проблема многоакцентности должна быть тесно связана с проблемою множественности значений. Только при условии этой связи обе проблемы могут быть разрешены. Но как раз эта связь совершенно неосуществима на почве абстрактного объективизма с его основоположениями. Ценностный акцент выбрасывается за борт лингвистикой вместе с единичным высказыванием (parole) [1].

VII. Согласно учению абстрактного объективизма, язык как готовое произведение передается от одного поколения к

[1] Дальнейшее развитие высказанных здесь положений мы дадим в IV главе настоящей части.

другому. Конечно, передачу по наследству языка, как вещи, представители второго направления понимают метафорически, но тем не менее в их руках такое уподобление является не только метафорой. Субстанциализируя систему языка и воспринимая живой язык как мертвый и чужой, абстрактный объективизм делает его чем-то внешним по отношению к потоку речевого общения. Поток этот движется вперед, а язык, как мяч, перебрасывается из поколения в поколение. Между тем язык движется вместе с потоком и неотделим от него. Он, собственно, не передается, он длится, но длится как непрерывный процесс становления. Индивиды вовсе не получают готового языка, они вступают в этот поток речевого общения, вернее, их сознание только в этом потоке и осуществляется впервые. Лишь в процессе научения чужому языку готовое сознание — готовое, благодаря родному языку, — противостоит готовому же языку, который ему и остается только принять. Родной язык не принимается людьми, — в нем они впервые пробуждаются [1].

VIII. Абстрактный объективизм, как мы видели, не умеет связать существование языка в абстрактном синхроническом разрезе с его становлением. Как система нормативно тождественных форм, язык существует для говорящего сознания; как процесс становления — лишь для историка. Этим исключается возможность активного приобщения самого говорящего сознания к процессу исторического становления. Диалектическое сочетание необходимости со свободой и, так сказать, с языковой ответственностью — на этой почве, конечно, совершенно невозможно. Здесь господствует чисто механистическое понимание языковой необходимости. Не подлежит, конечно, сомнению, что и эта черта абстрактного объективизма связана с его бессознательной установкой на мертвый и чужой язык.

Остается подвести итоги нашему критическому анализу абстрактного объективизма. Проблема, поставленная нами в начале первой главы — проблема реальной данности языковых явлений как специфического и единого объекта изучения, им разрешена неправильно. Язык как система нормативно тождественных форм является абстракцией, могущей быть теоретически и практически оправданной лишь с точки зрения расшифровывания чужого мертвого языка и научения ему. Основою для понимания и объяснения языковых фактов в их

[1] Процесс усвоения родного языка ребенком есть процесс постепенного вхождения ребенка в речевое общение. По мере этого вхождения формируется и наполняется содержанием его сознание.

жизни и становлении — эта система быть не может. Наоборот, она уводит нас прочь от живой становящейся реальности языка и его социальных функций, хотя сторонники абстрактного объективизма и претендуют на социологическое значение их точки зрения. В теоретическую основу абстрактного объективизма легли предпосылки рационалистического и механистического мировоззрения, менее всего способные обосновать правильное понимание истории, а ведь язык — чисто исторический феномен.

Следует ли отсюда, что верными являются основоположения первого направления — индивидуалистического субъективизма? Может быть именно ему удалось нащупать действительную реальность языка-речи? Или, может быть, истина лежит посредине, являясь компромиссом между первым и вторым направлением, между тезисами индивидуалистического субъективизма и антитезисами абстрактного объективизма?

Мы полагаем, что здесь, как и везде, истина находится не на золотой середине и не является компромиссом между тезисом и антитезисом, а лежит за ними, дальше их, являясь одинаковым отрицанием как тезиса, так и антитезиса, т. е. являясь *диалектическим синтезом*. Тезисы первого направления, как мы увидим в следующей главе, также не выдерживают критики.

Здесь мы обратим еще внимание на следующее. Абстрактный объективизм, считая единственно существенной для языковых явлений систему языка, отвергал речевой акт — высказывание — как индивидуальный. В этом, как мы сказали однажды, proton pseudos абстрактного объективизма. Индивидуалистический субъективизм считает единственно существенным именно речевой акт — высказывание. Но и он определяет этот акт как индивидуальный и потому пытается объяснить его из условий индивидуально-психической жизни говорящей особи. В этом и его proton pseudos.

На самом деле речевой акт или, точнее, его продукт — высказывание, отнюдь не может быть признано индивидуальным явлением в точном смысле этого слова и не может быть объяснено из индивидуально-психологических или психо-физиологических условий говорящей особи. *Высказывание — социально.*

Этот тезис нам предстоит обосновать в следующей главе.

Глава III

РЕЧЕВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ

Теория выражения индивидуалистического субъективизма. Критика теории выражения. Социологическая структура переживания и выражения. Проблема жизненной идеологии. Высказывание как основа речевого становления. Пути решения проблемы реальной данности языка. Высказывание как целое и его формы.

Второе направление философско-лингвистической мысли, как мы видели, связано с рационализмом и неоклассицизмом. Первое направление — индивидуалистический субъективизм — связано с *романтизмом*. Романтизм в значительной степени был реакцией на чужое слово и на обусловленные им категории мышления. Ближайшим образом романтизм был реакцией на последний рецидив культурной власти чужого слова — на эпоху Возрождения и неоклассицизм. Романтики были первыми филологами родного языка первыми, пытавшимися радикально перестроить лингвистическое мышление на основе переживаний родного языка как medium'а становления сознания и мысли. Правда, романтики все же оставались филологами в точном смысле этого слова. Перестроить мышление языка, сложившееся и отстоявшееся на протяжении столетий, было, конечно, не в их силах. Но все же новые категории были внесены в это мышление, они-то и создали специфические особенности первого направления. Характерно, что и до настоящего времени представители индивидуалистического субъективизма — специалисты по новым языкам, главным образом, романисты (Vossler, Leo Spitzer, Lorck и другие).

Однако и для индивидуалистического субъективизма монологическое высказывание было последнею реальностью, исходным пунктом их мышления о языке. Правда, они подходили к нему не с точки зрения пассивно понимающего филолога, а как бы изнутри, с точки зрения самого говорящего, выражающего себя.

Чем же является монологическое высказывание с точки зрения индивидуалистического субъективизма? — Мы видели, что оно является чистым индивидуальным актом, выражением индивидуального сознания, его намерений, интенций, творческих импульсов, вкусов и т. п. Категория выражения —

это та высшая и общая категория, под которую подводится языковой акт — высказывание.

Но что же такое выражение?

Наиболее простое и грубое определение его таково: нечто, так или иначе сложившееся и определившееся в психике индивида, объективируется вовне для других с помощью каких-либо внешних знаков.

В выражении, таким образом, два члена: *выражаемое* (внутреннее) и его *внешняя объективация* для других (или, может быть, и для себя самого). Теория выражения, какие бы тонкие и сложные формы она ни принимала, неизбежно предполагает эти два члена: все событие выражения разыгрывается между ними. Следовательно, всякая теория выражения неизбежно предполагает, что выражаемое может как-то сложиться и существовать помимо выражения, что оно существует в одной форме и затем переходит в другую форму. Ведь если бы это было не так, если бы выражаемое с самого начала существовало в форме выражения и между ними был количественный переход (в смысле уяснения, дифференциации и т. п.), то вся теория выражения пала бы. Теория выражения неизбежно предполагает некоторый дуализм между внутренним и внешним и известный примат внутреннего, ибо всякий акт объективации (выражения) идет изнутри вовне. Источники его — внутри. Недаром теория индивидуалистического субъективизма и все вообще теории выражения произрастали только на идеалистической и спиритуалистической почве. Все существенное внутри, — а внешнее может стать существенным, лишь став сосудом внутреннего, выражением духа.

Правда, внутреннее, становясь внешним, выражая себя вовне, видоизменяется. Ведь оно принуждено овладеть внешним материалом, обладающим своей законностью, чуждой внутреннему. В процессе этого овладения материалом, преодоления его, превращения его в послушный medium выражения, — само переживаемое и выражаемое видоизменяется и принуждено идти на известный компромисс. Поэтому-то на почве идеализма, на которой сложились все теории выражения, могло иметь место и радикальное отрицание выражения как искажения чистоты внутреннего[1]. Во всяком случае, все творческие и организующие выражение силы — внутри. Все внешнее — лишь пассивный материал внутреннего оформле-

[1] «Мысль изреченная есть ложь» (Тютчев); «О, если без слова сказаться душой было б можно» (Фет). Эти заявления чрезвычайно типичны для идеалистической романтики.

ния. В основном выражение строится внутри и лишь переходит вовне. Отсюда следует, что и понимание, толкование и объяснение идеологического явления должно быть направлено вовнутрь, оно должно идти по сравнению с выражением в обратном направлении: исходя из внешней объективации, объяснение должно проникнуть к его внутренним организующим корням. Так понимает выражение индивидуалистический субъективизм.

Теория выражения, лежащая в основе первого направления философско-лингвистической мысли, в корне неверна.

Переживание — выражаемое и его внешняя объективация — созданы, как мы знаем, из одного и того же материала. Ведь нет переживания вне знакового воплощения. С самого начала, следовательно, не может быть и речи о принципиальном качественном отличии внутреннего и внешнего. Но более того, организующий и формирующий центр находится не внутри (т. е. не в материале внутренних знаков), а вовне. Не переживание организует выражение, а наоборот, выражение организует переживание, впервые дает ему форму и определенность направления.

В самом деле, какой бы момент выражения-высказывания мы ни взяли, он определяется реальными условиями данного высказывания, прежде всего *ближайшей социальной ситуацией.*

Ведь высказывание строится между двумя социально организованными людьми, и если реального собеседника нет, то он предполагается в лице, так сказать, нормального представителя той социальной группы, к которой принадлежит говорящий. *Слово ориентировано на собеседника*, ориентировано на то, *кто* этот собеседник: человек той же социальной группы или нет, выше или ниже стоящий (иерархический ранг собеседника), связанный или не связанный с говорящим какими-либо более тесными социальными узами (отец, брат, муж и т. п.). Абстрактного собеседника, так сказать, человека в себе, не может быть; с ним действительно у нас не было бы общего языка ни в буквальном, ни в переносном смысле. Если мы и претендуем иногда переживать и высказывать urbi et orbi, то на самом деле, конечно, и город и мир мы видим сквозь призму объемлющей нас конкретной социальной среды. В большинстве случаев мы предполагаем при этом некоторый типический и стабилизованный *социальный кругозор,* на который ориентировано идеологическое творчество той социальной группы и того времени, к которым мы принадлежим,

так сказать, на современника нашей литературы, нашей науки, нашей морали, нашего права.

Внутренний мир и мышление каждого человека имеет свою стабилизованную *социальную аудиторию*, в атмосфере которой строятся его внутренние доводы, внутренние мотивы, оценки и пр. Чем культурнее данный человек, тем более данная аудитория приближается к нормальной аудитории идеологического творчества, но, во всяком случае, за пределы границ определенного класса и определенной эпохи идеальный собеседник выйти не может.

Значение ориентации слова на собеседника — чрезвычайно велико. В сущности *слово является двусторонним актом.* Оно в равной степени определяется как тем, *чье* оно, так и тем, для *кого* оно. Оно является как слово именно *продуктом взаимоотношений говорящего со слушающим.* Всякое слово выражает «одного» в отношении к «другому». В слове я оформляю себя с точки зрения другого, в конечном счете, себя с точки зрения своего коллектива. Слово — мост, перекинутый между мной и другим. Если одним концом он опирается на меня, то другим концом — на собеседника. Слово — общая территория между говорящим и собеседником.

Но кем же является говорящий? Ведь если слово и не принадлежит ему всецело, — будучи, так сказать, пограничной зоной между ним и собеседником, — то ведь все же на добрую половину слово принадлежит говорящему.

Здесь имеется один момент, где говорящий является бесспорным собственником слова, которое в этом моменте не может быть от него отчуждено. Это — физиологический акт осуществления слова. Но к этому акту, поскольку он берется как чисто физиологический акт, категория собственности неприложима.

Если же мы возьмем не физиологический акт осуществления звука, а осуществление слова как знака, то вопрос о собственности чрезвычайно осложняется. Не говоря уже о том, что слово как знак заимствуется говорящим из социального запаса наличных знаков, самое индивидуальное оформление этого социального знака в конкретном высказывании — всецело определяется социальными отношениями. Именно та стилистическая индивидуация высказывания, о которой говорят фослерианцы, является отражением социальных взаимоотнений, в атмосфере которых строится данное высказывание. *Ближайшая социальная ситуация и более широкая социальная среда всецело определяют — притом, так сказать, изнутри — структуру высказывания.*

В самом деле, какое бы высказывание мы ни взяли, хотя бы такое, которое не является предметным сообщением (коммуникацией в узком смысле), а словесным выражением какой-нибудь потребности, например голода, мы убедимся, что оно всецело ориентировано социально. Оно прежде всего ближайшим образом определяется участниками события высказывания, и близкими, и далекими, в связи с определенной ситуацией: ситуация формирует высказывание, заставляя его звучать так, а не иначе, как требование или как просьбу, как отстаивание своего права или мольбу о милости, в стиле витиеватом или простом, уверенно или робко и пр., и пр.

Эта ближайшая ситуация и ближайшие социальные участники ее определяют окказиональную форму и стиль высказывания. Более глубокие пласты его структуры определяются более длительными и существенными социальными связями, к которым говорящий приобщен.

Если мы возьмем высказывание в процессе его становления еще «в душе», то сущность дела не изменится, ибо структура переживания столь же социальна, как и структура его внешней объективации. Степень осознанности, отчетливости, оформленности переживания прямо пропорциональна его социальной ориентированности.

В самом деле, даже простое, смутное осознание какого-нибудь ощущения, хотя бы голода, без выражения его вовне, не может обойтись без какой-нибудь идеологической формы. Ведь всякое осознание нуждается во внутренней речи, во внутренней интонации и в зачаточном внутреннем стиле: возможно просительное, досадливое, злобное, негодующее осознание своего голода. Здесь мы перечисляем, конечно, только грубые и резкие направления внутренней интонации, на самом же деле возможна весьма тонкая и сложная интонировка переживания. Внешнее выражение, в большинстве случаев, только продолжает и уясняет направление внутренней речи и заложенные уже в ней интонации.

В таком направлении пойдет интонировка внутреннего ощущения голода — это зависит как от ближайшей ситуации переживания, так и от общего социального положения голодающего. Ведь этими условиями определяется, в каком ценностном контексте, в каком социальном кругозоре будет осознаваться переживание голода. Ближайший социальный контекст определит тех возможных слушателей, союзников или врагов, на которых будет ориентироваться сознание и переживание голода: будет ли это досада на злую природу, на судьбу, на себя самого, на общество, на определенную общест-

венную группу, на определенного человека и пр. Возможны, конечно, различные степени осознанности, отчетливости и дифференцированности этой социальной ориентировки переживания; но вне какой бы то ни было ценностной социальной ориентации нет переживания. Даже плач грудного ребенка «ориентирован» на мать. Возможна призывающая, агитирующая окраска переживания голода: переживание будет строиться в направлении к возможному призыву, агитационному доводу, осознаваться в форме протеста и пр., и пр.

В отношении к потенциальному (а иногда и явно ощущаемому) слушателю можно различать два полюса, два предела, между которыми может осознаваться и идеологически оформляться переживание, стремясь то к одному, то к другому. Назовем эти пределы условно: *«я-переживание»* и *«мы-переживание»*.

Собственно «я-переживание» стремится к уничтожению; оно теряет по мере приближения к пределу свою идеологическую оформленность, а следовательно, и осознанность, приближаясь к физиологической реакции животного. Стремясь к этому пределу, переживание утрачивает все потенции, все ростки социальной ориентации, а поэтому теряет и свое словесное обличие. Отдельные переживания и целые группы их могут приближаться к этому пределу, утрачивая свою идеологическую ясность и оформленность и свидетельствуя о социальной неукорененности сознания [1].

«Мы-переживание» вовсе не темное, стадное переживание: оно дифференцировано. Более того, идеологическая дифференциация, рост сознательности прямо пропорционален твердости и уверенности социальной ориентации. Чем крепче, организованнее и дифференцированнее коллектив, в котором ориентируется индивид, тем ярче и сложнее его внутренний мир.

Возможны различные степени «мы-переживания» и различные типы его идеологического оформления.

Допустим, что голодающий осознает свой голод в разрозненном множестве случайно голодающих (неудачник, нищий и пр.). Переживание такого деклассированного одиночки будет специфически окрашено и тяготеть к определенным идеологическим формам, амплитуда которых может быть достаточно широкой: смирение, стыд, завистливость и др. ценностные тона будут окрашивать его переживание. Соответствую-

[1] О возможности выпадения из социального контекста группы сексуальных переживаний человека и связанной с этим утраты словесной осознанности см. нашу книгу «Фрейдизм», Гиз, 1927 г., стр. 136—137.

щие идеологические формы, в направлении которых будет развиваться переживание, — индивидуалистический босяцкий протест или покаянное мистическое смирение.

Допустим, что голодающий принадлежит к коллективу, где голод не случаен и носит коллективный характер, но самый коллектив голодающих не связан прочною материальною связью, голодает разрозненно. В таком положении находится, в большинстве случаев, крестьянин. Голод переживается «на миру», но при материальной разрозненности, несвязанности единым хозяйством, каждый терпит в маленьком и замкнутом мирке своего индивидуального хозяйства. У такого коллектива нет единого материального тела для единого действия. При этих условиях будет преобладать смиренное, но без стыда и приниженности, осознание своего голода: «Все терпят, и ты терпи». На этой почве получают развитие философские и религиозные системы непротивленческого и фаталистического типа (раннее христианство, толстовство).

Совершенно иначе переживает голод член объективно-материально собранного и объединенного коллектива (полк солдат; рабочие, собранные в стенах завода; батраки большой капиталистической фермы; наконец, целый класс, когда он дозрел до формы «класса для себя»). Здесь в переживании будут преобладать тона активного и уверенного протеста; здесь нет почвы для смиренных и покорных интонаций. Здесь же наиболее благоприятная почва для идеологической ясности и оформленности переживания [1].

Все разобранные нами типы переживаний с их основными интонациями чреваты и соответственными образами и соответственными формами возможных высказываний. Социальная ситуация всюду определяет — какой образ, какая метафора и какая форма высказывания голода может развиться из данного интонационного направления переживания.

Особый характер носит индивидуалистическое *самопереживание*. Это не есть «я-переживание» в собственном смысле слова, выше нами определенном. Индивидуалистическое переживание вполне дифференцировано и оформлено. Индивидуализм есть особая идеологическая форма «мы-переживания» буржуазного класса (имеется аналогичный тип индиви-

---

[1] Интересный материал по вопросу о выражении голода можно найти в книгах известного современного лингвиста школы Фослера — Лео Шпицера: «Italienischen Kriegsgefangenenbriefen» и «Die Umschreibungen des Begriffes Hunger». Основная проблема здесь: гибкое приспособление слова и образа к условиям исключительной ситуации. Подлинного социологического подхода автор, однако, не дает.

дуалистического самопереживания феодально-аристократического класса). Индивидуалистический тип переживания определяется прочной и уверенной социальной ориентацией. Не изнутри, не из глубин личности почерпается индивидуалистическая уверенность в себе, ощущение своей самоценности, а извне: это — идеологическое истолкование моей социальной признанности и защищенности в праве и объективной упроченности и защищенности всем политическим строем моей индивидуальной хозяйственной деятельности. Структура сознательной индивидуальной личности — такая же социальная структура, как и коллективистический тип переживания: это — определенное идеологическое истолкование сложной и устойчивой социально-экономической ситуации, проецированное в индивидуальную душу. Но в этом типе индивидуалистического «мы-переживания» заложено, как и в соответствующем ему строе, внутреннее противоречие, которое рано или поздно разобьет его идеологическую оформленность.

Аналогичную структуру представляет тип одинокого самопереживания («уменье и сила быть одиноким в своей правоте», как культивирует этот тип Ромэн Роллан, отчасти и Толстой). Гордость этого одиночества также опирается на «мы». Это — характерная разновидность «мы-переживания» современной западно-европейской интеллигенции. Слова Толстого о том, что существует мышление для себя и мышление для публики — сопоставляют лишь две концепции публики. Это толстовское «для себя» на самом деле означает только другую, ему свойственную, социальную концепцию слушателя. Мышление вне установки на возможное выражение и, следовательно, вне социальной ориентированности этого выражения и самого мышления — не существует.

Таким образом, говорящая личность, взятая, так сказать, изнутри, оказывается всецело продуктом социальных взаимоотношений. Не только внешнее выражение, но и внутреннее переживание ее является социальной территорией. Следовательно, и весь путь, лежащий между внутренним переживанием («выражаемым») и его внешней объективацией («высказыванием») — весь пролегает по социальной территории. Когда же переживание актуализуется в законченном высказывании, его социальная ориентированность осложняется установкой на ближайшую социальную ситуацию говорения и, прежде всего, на конкретных собеседников.

Сказанное нами проливает новый свет на разобранную нами проблему сознания и идеологии.

Вне объективации, вне воплощения в определенном материале (материале жеста, внутреннего слова, крика) *сознание — фикция.* Это — плохая идеологическая конструкция, созданная путем абстракции от конкретных фактов социального выражения. Но сознание как организованное материальное выражение (в идеологическом материале слова, знака, чертежа, красок, музыкального звука и пр.), сознание — объективный факт и громадная социальная сила. Правда, это сознание не над бытием и не может определять бытия конститутивно, но оно само есть часть бытия, одна из сил его, и поэтому обладает действенностью, играет роль на арене бытия. Пока сознание остается в голове сознающего как внутрисловесный эмбрион выражения, — это еще слишком маленький клочок бытия, слишком невелик еще район его действия. Но когда оно пройдет все стадии социальной объективации и войдет в силовую систему науки, искусства, морали, права, — оно становится действительной силой и способно оказывать даже и обратное влияние на экономические основы общественной жизни. Конечно, эта сила сознания воплощена в определенных социальных организациях, закреплена в устойчивые идеологические выражения (наука, искусство и пр.), но и в первоначальной смутной форме мелькнувшей мысли и переживания оно уже было маленьким социальным событием, а не индивидуальным внутренним актом.

Переживание с самого начала установлено на вполне актуализованное внешнее выражение, тендирует к нему. Это выражение переживания может быть осуществлено, а может быть и задержано, заторможено. В этом последнем случае переживание является заторможенным выражением (весьма сложного вопроса о причинах и условиях торможения мы здесь не касаемся). Осуществленное выражение, в свою очередь, оказывает могущественное обратное влияние на переживание: оно начинает связывать внутреннюю жизнь, давая ей более определенное и устойчивое выражение.

Это обратное влияние оформленного и устойчивого выражения на переживание (т. е. внутреннее выражение) имеет громадное значение и всегда должно учитываться. Можно сказать, что *не столько выражение приспособляется к нашему внутреннему миру, сколько наш внутренний мир приспособляется к возможностям нашего выражения* и его возможным путям и направлениям.

Всю совокупность жизненных переживаний и непосредственно связанных с ними внешних выражений мы назовем в отличие от сложившихся идеологических систем — искусства,

морали, права — *жизненной идеологией*. Жизненная идеология — стихия неупорядоченной и незафиксированной внутренней и внешней речи, осмысливающей каждый наш поступок, действие и каждое наше «сознательное» состояние. Принимая во внимание социологичность структуры выражения и переживания, мы можем сказать, что жизненная идеология в нашем понимании в основном соответствует тому, что в марксистской литературе обозначается как «общественная психология». В данном контексте мы предпочитаем избегать слова «психология», так как нам важно исключительно содержание психики и сознания, а оно сплошь идеологично, оно определяется не индивидуально-органическими (биологическими, физиологическими), а чисто социологическими факторами. Индивидуально-органический фактор совершенно несущественен для понимания основных творческих и живых линий содержания сознания.

Сложившиеся идеологические системы общественной морали, науки, искусства и религии выкристаллизовываются из жизненной идеологии и в свою очередь оказывают на нее сильное обратное влияние и, нормально, задают тон этой жизненной идеологии. Но в то же время эти сложившиеся идеологические продукты все время сохраняют самую живую органическую связь с жизненной идеологией, питаются ее соками и вне ее — мертвы, как мертвы, например, законченное литературное произведение или познавательная идея вне их живого оценивающего восприятия. Но ведь это восприятие, для которого только и существует какое бы то ни было идеологическое произведение, совершается на языке жизненной идеологии. Жизненная идеология вовлекает произведение в данную социальную ситуацию. Произведение связывается со всем содержанием сознания воспринимающих и апперципируется только в контексте этого современного сознания. Произведение интерпретируется в духе данного содержания сознания (сознания воспринимающего), освещается им по-новому. В этом — жизнь идеологического произведения. В каждую эпоху своего исторического существования произведение должно вступить в тесную связь с меняющейся жизненной идеологией, проникнуться ею, пропитаться новыми, идущими из нее соками. Лишь в той степени, в какой произведение способно вступить в такую неразрывную, органическую связь с жизненной идеологией данной эпохи, оно способно быть живым в данную эпоху (конечно, в данной социальной группе). Вне этой связи оно перестает существовать, ибо перестает переживаться как идеологически значимое.

В жизненной идеологии мы должны различать несколько пластов. Эти пласты определяются тем социальным масштабом, каким измеряется переживание и выражение, теми социальными силами, по отношению к которым им приходится непосредственно ориентироваться.

Кругозор, в котором осуществляется данное переживание или выражение, может быть, как мы уже знаем, более или менее широким. Мирок переживания может быть узким и темным, социальная ориентация переживания может быть случайной и мгновенной, характерной только для данной случайной и непрочной группировки нескольких лиц. Конечно, и такие капризные переживания идеологичны и социологичны, но они уже лежат на границах нормального и патологического. Такое случайное переживание остается изолированным в душевной жизни данного лица. Оно не будет способно упрочиться и найти дифференцированное и законченное выражение: ведь если оно лишено социально-обоснованной и прочной аудитории, то откуда же возьмутся основы для его дифференциации и завершения? Еще менее возможно закрепление такого случайного переживания (письменное и тем более печатное). Никаких шансов на дальнейшую социальную силу и действенность у такого, рожденного минутной и случайной ситуацией переживания, конечно, нет.

Такие переживания составляют самый нижний, текучий и быстро изменчивый пласт жизненной идеологии. К этому пласту относятся, следовательно, все те смутные, недоразвитые, мелькающие в нашей душе переживания, мысли и случайные, праздные слова. Все это — неспособные к жизни «недоноски» социальных ориентаций, романы без героя и выступления без аудитории. Они лишены какой бы то ни было логики и единства. Нащупать в этих идеологических обрывках социологическую закономерность чрезвычайно трудно. В нижнем пласте жизненной идеологии возможно уловить только статистическую закономерность; только на большой массе продуктов этого рода обнаруживаются основные линии социально-экономической закономерности. Конечно, практически вскрыть социально-экономические предпосылки отдельного случайного переживания или выражения невозможно.

Другие, высшие пласты жизненной идеологии, непосредственно примыкающие к идеологическим системам, существеннее, ответственнее и носят творческий характер. Они гораздо подвижнее и нервнее сложившейся идеологии; они быстрее и резче способны передавать изменения социально-экономической основы. Здесь именно и накопляются те творче-

ские энергии, с помощью которых происходят частичные или радикальные перестройки идеологических систем. Выступающие новые социальные силы находят сначала свое идеологическое выражение и оформление в этих высших пластах жизненной идеологии, прежде чем им удастся завоевать арену организованной официальной идеологии. Конечно, в процессе борьбы, в процессе постепенного просачивания в идеологические организации (в прессу, в литературу, в науку) эти новые течения жизненной идеологии, как бы они ни были революционны, подвергаются влиянию сложившихся идеологических систем, частично усваивают накопленные формы, идеологические навыки и подходы.

То, что обычно называется «творческой индивидуальностью», является выражением основной твердой и постоянной линии социальной ориентации данного человека. Сюда относятся прежде всего верхние, наиболее оформленные пласты внутренней речи (жизненная идеология), каждый образ, каждая интонация которой проходили через стадию выражения, как бы выдержали испытание выражением. Сюда входят, таким образом, слова, интонации и внутрисловесные жесты, проделавшие опыт внешнего выражения в более или менее широком социальном масштабе, как бы социально хорошо пообтершиеся, отшлифованные реакциями и репликами, отпором или поддержкой социальной аудитории.

В нижних пластах жизненной идеологии, конечно, био-биографический фактор играет существенную роль, но по мере внедрения высказывания в идеологическую систему его значение все более и более понижается. Если, следовательно, в нижних пластах переживания и выражения (высказывания) био-биографические объяснения могут кое-что дать, то в верхних пластах роль этих объяснений крайне скромна. Объективный социологический метод является здесь полным господином.

Итак, теория выражения, лежащая в основе индивидуалистического объективизма, должна быть нами отвергнута. *Организующий центр всякого высказывания, всякого выражения — не внутри, а вовне: в социальной среде, окружающей особь.* Только нечленораздельный животный крик, действительно, организован изнутри физиологического аппарата единичной особи. В нем нет никакого идеологического плюса по отношению к физиологической реакции. Но уже самое примитивное человеческое высказывание, осуществленное единичным организмом, с точки зрения своего содержания, своего смысла и значения, организовано вне его, — во внеоргани-

ческих условиях социальной среды. Высказывание как такое всецело продукт социального взаимодействия, как ближайшего, определяемого ситуацией говорения, так и дальнейшего, определяемого всей совокупностью условий данного говорящего коллектива.

Единичное высказывание (parole), вопреки учению абстрактного объективизма, вовсе не индивидуальный факт, в своей индивидуальности не поддающийся социологическому анализу. Ведь если б это было так, то ни сумма этих индивидуальных актов, ни какие-нибудь общие всем этим индивидуальным актам абстрактные моменты их («нормативно-тождественные формы») не могли бы породить никакого социального продукта.

Индивидуалистический субъективизм *прав* в том, что единичные высказывания являются действительною конкретною реальностью языка и что им принадлежит творческое значение в языке.

Но индивидуалистический субъективизм *не прав* в том, что он игнорирует и не понимает социальной природы высказывания и пытается вывести его из внутреннего мира говорящего как выражение этого внутреннего мира. Структура высказывания и самого выражаемого переживания — *социальная структура*. Стилистическое оформление высказывания — социальное оформление и самый речевой поток высказываний, к которому действительно сводится реальность языка, является социальным потоком. Каждая капля в нем социальна, социальна и вся динамика его становления.

Совершенно *прав* индивидуалистический субъективизм в том, что нельзя разрывать языковую форму и ее идеологическое наполнение. Всякое слово — идеологично и всякое применение языка — связано с идеологическим изменением. Но *не прав* индивидуалистический субъективизм в том, что это идеологическое наполнение слова он также выводит из условий индивидуальной психики.

Не прав индивидуалистический субъективизм и в том, что он, как и абстрактный объективизм, в основном исходит из монологического высказывания. Правда, некоторые фослерианцы начинают подходить к проблеме диалога и, следовательно, к более правильному пониманию речевого взаимодействия. В этом отношении в высшей степени характерна уже названная нами книга Leo Spitzer'a «Italienische Umgangssprache», где делаются попытки анализа форм итальянской разговорной речи в тесной связи с условиями говорения и пре-

жде всего — с постановкой собеседника[1]. Однако метод Лео Шпицера *описательно-психологический*. Соответствующих принципиально-социологических выводов Лео Шпицер из своего анализа не делает. Основною реальностью для фослерианцев остается, таким образом, монологическое высказывание.

Проблему речевого взаимодействия с большою отчетливостью ставил Отто Дитрих[2]. Он исходит из критики теории высказывания как выражения. Основной функцией языка является для него не выражение, а *сообщение*. Это приводит его к учету роли слушателя. Минимальным условием языкового явления, по Дитриху, являются *двое* (говорящий и слушатель). Однако, общепсихологические предпосылки Дитриха общи у него с индивидуалистическим субъективизмом. Исследования Дитриха лишены также определенного социологического базиса.

Теперь мы можем дать ответ на вопросы, поставленные нами в начале первой главы этой части. *Действительной реальностью языка-речи является не абстрактная система языковых форм и не изолированное монологическое высказывание, и не психо-физиологический акт его осуществления, а социальное событие речевого взаимодействия, осуществляемое высказыванием и высказываниями.*

Речевое взаимодействие является, таким образом, основною реальностью языка.

Диалог, в узком смысле этого слова, является, конечно, лишь одной из форм, правда — важнейшей, речевого взаимодействия. Но можно понимать диалог широко, понимая под ним не только непосредственное громкое речевое общение людей лицом к лицу, а всякое речевое общение, какого бы типа оно ни было. Книга, т. е. *печатное речевое выступление,* также является элементом речевого общения. Оно обсуждается в непосредственном и живом диалоге, но помимо этого, оно установлено на активное, связанное с проработкой и внутренним реплицированием восприятие и на организованную печатную же реакцию в тех разнообразных формах, какие выработаны в данной сфере речевого общения (рецензии, критические ре-

---

[1] В этом отношении характерно само построение книги. Книга распадается на четыре главы. Вот их заглавия: I. Eröffnungsformen des Gesprächs. II. Sprecher und Hörer; A. Höflichkeit (Rücksicht auf den Partner); B. Sparsamkeit und Verschwendung im Ausdruck; C. Ineinandergreifen von Rede und Gegenrede. III. Sprecher und Situation. IV. Die Abschluss des Gesprächs. Предшественником Шпицера в исследовании разговорного языка в условиях реального говорения был Hermann Wunderlich. См. его книгу «Unser Umgangssprache» (1894 г.).

[2] См. Die Problemen der Sprachpsychologie (1914).

фераты, определяющее влияние на последующие работы и пр). Далее, такое речевое выступление неизбежно ориентируется на предшествующие выступления в той же сфере самого автора, так и других, исходит из определенного положения научной проблемы или художественного стиля. Таким образом, печатное речевое выступление как бы вступает в идеологическую беседу большого масштаба: на что-то отвечает, что-то опровергает, что-то подтверждает, предвосхищает возможные ответы и опровержения, ищет поддержки и пр.

Всякое высказывание, как бы оно ни было значительно и азкончено само по себе, *является лишь моментом непрерывного речевого общения* (жизненного, литературного, познавательного, политического). Но это непрерывное речевое общение само, в свою очередь, является лишь моментом непрерывного всестороннего *становления* данного социального коллектива. Отсюда возникает важная проблема: изучение связи конкретного взаимодействия с внесловесной ситуацией, ближайшей, а через нее и более широкой. Формы этой связи различны, а в связи с той или иной формой различные моменты ситуации получают различное значение (так, различны эти связи с различными моментами ситуаций в художественном общении или общении научном). *Никогда речевое общение не сможет быть понято и объяснено вне этой связи с конкретной ситуацией.* Словесное общение неразрывно сплетено с общениями иных типов, вырастая на общей с ними почве производственного общения. Оторвать слово от этого вечно становящегося, единого общения, конечно, нельзя. В этой своей конкретной связи с ситуацией речевое общение всегда сопровождается социальными актами неречевого характера (трудовыми актами, символическими актами ритуала, церемонии и пр.), являясь часто только их дополнением и неся лишь служебную роль. *Язык живет и исторически становится именно здесь, в конкретном речевом общении, а не в абстрактной лингвистической системе форм языка и не в индивидуальной психике говорящих.*

Отсюда следует, что методологически обоснованный порядок изучения языка должен быть таков: 1) формы и типы речевого взаимодействия в связи с конкретными условиями его; 2) формы отдельных высказываний, отдельных речевых выступлений в тесной связи со взаимодействием, элементами которого они являются, т. е. определяемые речевым взаимодействием, жанры речевых выступлений в жизни и в идеологическом творчестве; 3) исходя отсюда, пересмотр форм языка в их обычной лингвистической трактовке.

В таком порядке протекает и реальное становление языка: *становится социальное общение* (на основе базиса), *в нем становится речевое общение и взаимодействие, в этом последнем становятся формы речевых выступлений, и это становление,* наконец, *отражается в изменении форм языка.*

Из всего сказанного вытекает чрезвычайная важность проблемы форм высказывания как *целого*. Мы уже указывали, что современная лингвистика лишена подхода к самому высказыванию. Дальше элементов его анализ ее не идет. Между тем, реальными единицами потока-речи являются высказывания. Но именно для того, чтобы изучить формы этой реальной единицы, ее нельзя изолировать из исторического потока высказываний. Как целое, высказывание осуществляется только в потоке речевого общения. Ведь целое определяется его границами, а границы проходят по линии соприкосновения данного высказывания с внесловесной и со словесной средой (т. е. с другими высказываниями).

Первое слово и последнее слово, начало и конец жизненного высказывания, — вот уже проблема целого. Процесс речи, понятый широко как процесс внешней и внутренней речевой жизни, вообще непрерывен, он не знает ни начала, ни конца. Внешнее актуализированное высказывание — остров, поднимающийся из безбрежного океана внутренней речи; размеры и формы этого острова определяются данной *ситуацией* высказывания и его *аудиторией*. Ситуация и аудитория заставляют внутреннюю речь актуализоваться в определенное внешнее выражение, которое непосредственно включено в невысказанный жизненный контекст, восполняется в нем действием, поступком или словесным ответом других участников высказывания. Законченный вопрос, восклицание, приказание, просьба — вот типичнейшие целые жизненных высказываний. Все они (особенно такие, как приказание, просьба) требуют внесловесного дополнения, да и внесловесного начала. Самый тип завершения этих маленьких жизненных *жанров* определяется трением слова о внесловесную среду и трением слова о чужое слово (других людей). Так, форма приказания определяется теми препятствиями, которые оно может встретить, степенью повиновения и пр. Жанровое завершение здесь отвечает случайным и неповторимым особенностям жизненных ситуаций. Об определенных типах жанровых завершений в жизненной речи можно говорить лишь там, где имеют место хоть сколько-нибудь устойчивые, закрепленные бытом и обстоятельствами формы жизненного общения. Так, совершенно особый тип жанрового завершения выработан в легкой

и ни к чему не обязывающей салонной болтовне, где все — свои и где основная дифференциация собравшихся (аудитория): мужчины и женщины. Здесь вырабатываются особые формы слова-намека, недосказанности, реминисценций маленьких и заведомо несерьезных рассказов и пр. Другой тип завершения вырабатывается в беседе мужа и жены, брата и сестры. Совершенно иначе начинают, кончают и строят заявления и реплики случайно собравшиеся разнородные люди где-нибудь в очереди, в каком-нибудь учреждении и пр. Свои типы знают деревенские посиделки, городские гулянки, калякание рабочих в обеденный перерыв и пр. Каждая устойчивая бытовая ситуация обладает определенной организацией аудитории и, следовательно, определенным репертуаром маленьких житейских жанров. Всюду житейский жанр укладывается в отведенное ему русло социального общения, являясь идеологическим отражением его типа, структуры, цели и социального состава. Житейский жанр — часть социальной среды: праздника, досуга, общения в гостиной, в мастерской и пр. Он соприкасается с этою средой, ограничивается ею и определяется ею во всех своих внутренних моментах.

Иные формы построения высказываний знают производственные процессы труда и процессы делового общения.

Это же касается до форм идеологического общения в точном смысле этого слова: форм политических выступлений, политических актов, законов, формул, деклараций и пр., и пр., форм поэтических высказываний, научных трактатов и т. д.,— то эти формы подвергались специальным исследованиям в риторике и поэтике, но, как мы уже сказали, эти исследования совершенно оторваны от проблемы языка, с одной стороны, и от проблем социального общения — с другой[1].

Продуктивный анализ форм целого высказываний как реальных единиц речевого потока возможен лишь на основе признания единичного высказывания чисто социологическим явлением. Марксистская философия языка и должна положить в свою основу высказывание как реальный феномен языка речи и как социально-идеологическую структуру.

Показав социологическую структуру высказывания, вернемся к двум направлениям философско-лингвистической мысли и подведем окончательные итоги.

---

[1] Об отрыве поэтического произведения от условий художественного общения и результирующем отсюда овеществлении его см. нашу работу: «Слово в жизни и слово в поэзии» («Звезда», Гиз, 1926 г., кн. № 6).

Московский лингвист Р. Шор, примыкающий ко второму направлению философско-лингвистической мысли (абстрактному объективизму), следующими словами кончает свой краткий очерк положения современного языкознания.

«Язык не есть вещь (ergon), но естественная природная деятельность человека (energeia)», — сказало романтическое языковедение XIX века. Иное говорит современная теоретическая лингвистика: «Язык не есть деятельность индивидуальная (energeia), но культурно-историческое достояние человечества (ergon)»[1].

Этот вывод поражает своей односторонностью и предвзятостью. С фактической стороны он совершенно не верен. Ведь к современной теоретической лингвистике относится и школа Фослера, являющаяся одним из наиболее мощных движений современной лингвистической мысли. Недопустимо отождествлять современную лингвистику лишь с одним из ее направлений.

С точки зрения теоретической, как тезис, так и антитезис, построенные Р. Шором, одинаково должны быть отвергнуты, ибо они одинаково неадекватны действительной природе языка.

Постараемся в заключение сформулировать в немногих положениях нашу точку зрения:

1) *Язык как устойчивая система нормативно-тождественных форм есть только научная абстракция,* продуктивная лишь при определенных практических и теоретических целях. Конкретной действительности языка эта абстракция не адекватна.

2) *Язык есть непрерывный процесс становления, осуществляемый социальным речевым взаимодействием говорящих.*

3) *Законы языкового становления отнюдь не являются индивидуально-психологическими законами, но они не могут быть и отрешены от деятельности говорящих индивидов.* Законы языкового становления суть *социологические* законы.

4) *Творчество языка не совпадает с художественным творчеством или с каким-либо иным специально-идеологическим творчеством. Но, в то же время, творчество языка не может быть понято в отрыве от наполняющих его идеологических*

[1] Указанная статья Р. Шора: «Кризис современной лингвистики», стр. 71.

смыслов и ценностей. Становление языка, как и всякое историческое становление, может ощущаться как слепая механическая необходимость, но может стать и «свободной необходимостью», став осознанной и желанной необходимостью.

5) *Структура высказывания является чисто социальной структурой*. Высказывание как такое наличествует между говорящими. Индивидуальный речевой акт (в точном смысле слова «индивидуальный») — contradictio in adjecto.

Глава IV

ТЕМА И ЗНАЧЕНИЕ В ЯЗЫКЕ

Тема и значение. Проблема активного восприятия. Оценка и значение. Диалектика значения.

Проблема значения — одна из труднейших проблем лингвистики. В процессе ее разрешения особенно ярко обнаруживается односторонний монологизм лингвистики. Теория пассивного понимания не дает возможности подойти к самым основным и существенным особенностям языкового значения.

В пределах нашей работы мы принуждены ограничиться лишь весьма кратким и поверхностным рассмотрением этого вопроса. Мы постараемся наметить лишь основные линии его продуктивной разработки.

Определенное и единое значение, единый смысл, принадлежит всякому высказыванию *как целому.* Назовем этот смысл целого высказывания его *темой*[1]. Тема должна быть едина, в противном случае у нас не будет никаких оснований говорить об одном высказывании. Тема высказывания, в сущности, индивидуальна и неповторима как само высказывание. Она является выражением породившей высказывание конкретной исторической ситуации. Высказывание «который час?» имеет каждый раз другое значение и, следовательно, по нашей терминологии, другую тему, в зависимости от той конкретной исторической ситуации (исторической — в микроскопическом размере), во время которой оно произносится и частью которой, в сущности, оно и является.

Отсюда следует, что тема высказывания определяется не только входящими в его состав лингвистическими формами — словами, морфологическими, синтаксическими формами, звуками, интонацией, — но и внесловесными моментами ситуации. Утратив эти моменты ситуации, мы так же не поймем высказывания, как и тогда, когда утрачиваем из него важнейшие слова. Тема высказывания конкретна, — конкретна как тот исторический миг, которому это высказывание принадлежит. *Только высказывание, взятое во всей конкретной полноте, как исторический феномен, обладает темой.* Такова тема высказывания.

[1] Обозначение, конечно, условно. Здесь тема обнимает и ее выполнение, поэтому не следует путать наше понятие с темою художественного произведения. Ближе к нему находится понятие «тематического единства».

Однако, если б мы ограничились этой исторической неповторимостью и единственностью каждого конкретного высказывания и его темы, мы были бы плохими диалектиками. Рядом с темой или, вернее, внутри темы высказыванию принадлежит и *значение*. Под значением, в отличие от темы, мы понимаем все те моменты высказывания, которые *повторимы* и *тождественны себе* при всех повторениях. Конечно, эти моменты — абстрактны: в условно обособленной форме они не имеют конкретного самостоятельного существования, но в то же время они — неотделимая, необходимая часть высказывания. Тема высказывания, в сущности, неделима. Значение высказывания, наоборот, распадается на ряд значений входящих в него языковых элементов. Неповторимую тему высказывания «который час?», взятую в неразрывной связи с конкретной исторической ситуацией, нельзя разделить на элементы. Значение высказывания «который час?», — одинаковое, конечно, во всех исторических случаях его произнесения, — слагается из значений входящих сюда слов, форм их морфологической и синтаксической связи, вопросительной интонации и т. д.

Тема — *сложная динамическая система знаков, пытающаяся быть адекватной данному моменту становления.* Тема — *реакция становящегося сознания на становление бытия.* Значение — *технический аппарат осуществления темы.* Конечно, провести абсолютную механическую границу между темой и значением — невозможно. Нет темы без значения и нет значения без темы. Более того, нельзя даже показать значение какого-нибудь отдельного слова (например, в процессе научения другого человека иностранному языку), не сделав его, примерно, элементом темы, т. е. не построив высказывания — «примера». С другой стороны тема должна опереться на какую-то устойчивость значения, в противном случае оно утратит свою связь с предшествующим и последующим, т. е. вообще утратит свой смысл.

Изучение языков первобытных народов и современная палеонтология значений приходят к выводу о так называемой *комплексности* первобытного мышления. Первобытный человек употреблял какое-нибудь слово для обозначения многообразнейших явлений, с нашей точки зрения ничем между собой не связанных. Более того, одно и то же слово могло обозначать прямо противоположные понятия — и верх, и низ; и землю, и небо; и добро, и зло; и т. п. «Достаточно сказать, — говорит ак. Н. Я. Марр, — что современная палеонтология языка нам дает возможность дойти в его исследовании до

эпохи, когда в распоряжении племени было только одно слово для применения во всех значениях, какие только осознавало человечество»[1].

Но было ли такое всезначащее слово — словом? — могут спросить нас. — Именно было словом. Наоборот, если бы какому-нибудь звуковому комплексу принадлежало одно единственное инертное и неизменное значение, то такой комплекс был бы не словом, не знаком, а только сигналом[2]. *Множественность значений — конститутивный признак слова.* Относительно всезначащего слова, о котором говорил Н. Я. Марр, мы можем сказать следующее: *такое слово, в сущности, почти не имеет значения; оно все — тема.* Его значение *неотделимо от конкретной ситуации его осуществления.* Это значение так же каждый раз иное, как каждый раз иной является ситуация. Здесь тема, таким образом, поглощает, растворяет в себе значение, не давая ему стабилизироваться и хоть сколько-нибудь отвердеть. Но по мере развития языка, по мере расширения запаса звуковых комплексов, значения начинают затвердевать по основным, наиболее повторяющимся в жизни коллектива линиям тематического применения того или иного слова.

Тема, как мы сказали, принадлежит только целому высказыванию, а отдельному слову — лишь поскольку оно фигурирует в качестве целого высказывания. Так, например, всезначащее слово Н. Я. Марра фигурирует всегда в качестве целого (потому-то и не имеет устойчивых значений). Значение же принадлежит элементу и совокупности элементов в их отношении к целому. Конечно, если мы вовсе отвлечемся от отношения к целому (т. е. к высказыванию), то мы вовсе утратим значение. Поэтому-то и нельзя проводить резкой границы между темой и значением.

Правильнее всего было бы формулировать взаимоотношение темы и значения следующим образом. Тема является *верхним, реальным пределом языковой значимости*; в сущности, только тема значит нечто определенное. Значение является *нижним пределом* языковой значимости. Значение, в сущности, ничего не значит, а обладает лишь потенцией, возможностью значения в конкретной теме. Исследование значения того или

[1] «По этапам яфетической теории», стр. 278.

[2] Из этого видно, что даже то первобытнейшее слово, о котором говорит Н. Я. Марр, ничем не похоже на сигнал, к которому некоторые пытаются свести язык. Ведь сигнал, который значит все, менее всего способен нести функцию сигнала. Сигнал очень слабо способен приспособляться к меняющимся условиям ситуации, и, в сущности, изменение сигнала есть замена одного сигнала другим.

иного языкового элемента может, согласно данному нами определению, идти в двух направлениях: или в направлении к верхнему пределу — к теме; в таком случае это будет исследование контекстуального значения данного слова в условиях конкретного высказывания; или же оно может стремиться к нижнему пределу — пределу значения. В таком случае это будет исследование словарного слова.

Различие между темой и значением и правильное понимание их взаимоотношения является очень важным для построения подлинной науки о значениях. До сих пор важность этого совершенно не была понята. Различение *узуального* и *окказионального* значения слова, основного и побочного значения, значения и созначения и т. п. — являются в корне неудовлетворительными. Основная тенденция, лежащая в основе всех подобных различений — приписать бо̀льшую ценность именно основному, узуальному моменту значения, который мыслится при этом как реально существующий и устойчивый, — совершенно неверна. Кроме того, непонятной остается тема, которая, конечно, отнюдь не может быть сведена к окказиональному или побочному значению слов.

Различие между темой и значением особенно уясняется в связи с *проблемою понимания*, которой мы здесь вкратце коснемся.

Нам уже приходилось говорить о филологическом типе пассивного понимания с заранее исключенным ответом. Всякое истинное понимание активно и является зародышем ответа. Темой может овладеть только активное понимание, становлением овладеть можно только с помощью становления же.

Понять чужое высказывание значит ориентироваться по отношению к нему, найти для него должное место в соответствующем контексте. На каждое слово понимаемого высказывания мы как бы наслаиваем ряд своих отвечающих слов. Чем их больше и чем они существеннее, тем глубже и существеннее понимание.

Таким образом, каждый выделимый смысловой элемент высказывания и все высказывание в целом — переводятся нами в иной, активный, отвечающий контекст. *Всякое понимание диалогично.* Понимание противостоит высказыванию, как реплика противостоит реплике в диалоге. Понимание подыскивает слову говорящего *противослово.* Только понимание чужеземного слова подыскивает «то же самое» слово на своем языке.

Поэтому не приходится говорить, что значение принадлежит слову как такому. В сущности, оно принадлежит слову, находящемуся между говорящими, то есть оно осуществляется только в процессе ответного, активного понимания. Значение — не в слове, и не в душе говорящего, и не в душе слушающего. Значение является *эффектом взаимодействия говорящего со слушателем на материале данного звукового комплекса*. Это — электрическая искра, появляющаяся лишь при соединении двух различных полюсов. Те, кто игнорируют тему, доступную лишь активному отвечающему пониманию, и пытаются в определении значения слова приблизиться к нижнему, устойчивому, себетождественному пределу его,—фактически хотят, выключив ток, зажечь электрическую лампочку. Только ток речевого общения дает слову свет его значения.

Теперь перейдем к одной из важнейших проблем науки о значениях, к проблеме *взаимоотношения оценки и значения.*

Всякое слово, реально сказанное, обладает не только темою и значением в предметном, содержательном смысле этих слов, но и *оценкой*, т. е. все предметные содержания даются в живой речи, сказаны или написаны в соединении с определенным *ценностным акцентом*. Без ценностного акцента нет слова. Чем же является акцент и как он относится к предметной стороне значения?

Наиболее отчетливый, но в то же время наиболее поверхностный слой заключенной в слове социальной оценки передается с помощью *экспрессивной интонации*. Интонация в большинстве случаев определяется ближайшей ситуацией и часто ее мимолетнейшими обстоятельствами. Правда, интонация может быть и более существенной. Вот классический случай применения интонации в жизненной речи. Достоевский в «Дневнике писателя» рассказывает:

«Однажды в воскресенье, уже к ночи, мне пришлось пройти шагов с пятнадцать рядом с толпой шестерых пьяных мастеровых, и я вдруг убедился, что можно выразить все мысли, ощущения и даже целые глубокие рассуждения одним лишь названием этого существительного, до крайности к тому же немногосложного (речь идет об одном самом распространенном нецензурном словечке — *В. В.*). Вот один парень резко и энергически произносит это существительное, чтобы выразить об чем-то, об чем раньше у них общая речь зашла, свое самое презрительное отрицание. Другой в ответ ему повторяет это же самое существительное, но совсем уже в другом тоне и смысле,—именно в смысле полного сомнения в правдиво-

сти отрицания первого парня. Третий вдруг приходит в негодование против первого парня, резко и азартно ввязывается в разговор и кричит ему то же самое существительное, но в смысле уже брани и ругательства. Тут ввязывается опять второй парень в негодовании на третьего, на обидчика, и останавливает его в таком смысле, «что, дескать, что ж ты так, парень, влетел? Мы рассуждали спокойно, а ты откуда взялся — лезешь Фильку ругать!» И вот, всю эту мысль он проговорил тем же самым одним заповедным словом, тем же крайне односложным названием одного предмета, разве только, что поднял руку и взял третьего парня за плечо. Но вот вдруг четвертый паренек, самый молодой из всей партии, доселе молчавший, должно быть вдруг отыскав разрешение первоначального затруднения, из-за которого вышел спор, в восторге, приподымая руку, кричит ... Эврика, вы думаете? Нашел, нашел? Нет, совсем не эврика и не нашел; он повторяет лишь то же самое нелексиконное существительное, одно только слово, всего одно слово, но только с восторгом, с визгом упоения и, кажется, слишком уж с сильным, потому что шестому, угрюмому и самому старшему парню это не «показалось», и он мигом осаживает молокососный восторг паренька, обращаясь к нему и повторяя угрюмым и назидательным басом ... да все то же самое, запрещенное при дамах существительное, что, впрочем, ясно и точно обозначало: «чего орешь, глотку дерешь!» Итак, не проговоря ни единого другого слова, они повторили это одно только, но излюбленное ими словечко шесть раз кряду, один за другим, и поняли друг друга вполне. Это факт, которому я был свидетелем»[1].

Все шесть «речевых выступлений» мастеровых различны, несмотру на то, что они состоят из одного и того же слова. В сущности это слово является лишь опорой для интонации. Беседа здесь ведется интонациями, выражающими оценки говорящих. Эти оценки и соответствующие им интонации всецело определяются ближайшей социальной ситуацией беседы, поэтому-то они и не нуждаются ни в какой предметной опоре. В жизненной речи интонация часто имеет совершенно независимое от смыслового состава речи значение. Накопившийся внутренний интонационный материал часто находит себе выход в совершенно неподходящих для данной интонации языковых построениях. При этом интонация не проникает в интеллектуальную, вещественно-предметную значимость постро-

[1] Полное собрание сочинений Ф. М. Достоевского, 1906 г., т. IX, стр. 274—275.

ения. Мы выражаем наше чувство, выразительно и глубоко интонируя какое-нибудь случайно подвернувшееся нам слово, часто пустое междометие или наречие. Почти у каждого человека есть свое излюбленное междометие или наречие, или иногда и семантически полновесное слово, которое он обычно употребляет для чисто интонационного разрешения мелких, а иногда и крупных житейских ситуаций и настроений. Такими интонационными отдушинами служат выражения вроде: «так-так», «да-да», «вот-вот», «ну-ну» и проч. Характерно обычное дублирование таких словечек, то есть искусственное растяжение звукового образа с целью дать накопившейся интонации изжить себя. Одно и то же излюбленное словечко произносится, конечно, с громадным разнообразием интонации, в зависимости от многообразия жизненных ситуаций и настроений.

Во всех этих случаях тема, присущая каждому высказыванию (ведь особая тема присуща и каждому из высказываний шести мастеровых), всецело осуществляется силами одной экспрессивной интонации без помощи значений слов и грамматических связей. Такая оценка и соответствующая ей интонация не может выйти за узкие пределы ближайшей ситуации и маленького интимного социального мирка. Такую оценку, действительно, можно назвать только побочным, сопровождающим явлением языковых значений.

Однако, не все оценки таковы. Какое бы высказывание мы ни взяли, хотя бы с самым широким смысловым охватом и опирающееся на самую широкую социальную аудиторию, мы все же увидим, что оценке в нем принадлежит громадное значение. Правда, здесь эта оценка не будет хоть сколько-нибудь адекватно выражаться интонацией, но она будет определять выбор и размещение всех основных значащих элементов высказывания. Высказывания без оценки не построишь. Каждое высказывание есть прежде всего *оценивающая ориентация*. Поэтому в живом высказывании каждый элемент не только значит, но и оценивает. Только абстрактный элемент, воспринятый в системе языка, а не в структуре высказывания, представляется лишенным оценки. Установка на абстрактную систему языка и привела к тому, что большинство лингвистов отрывает оценку от значения, считая ее побочным моментом значения, выражением индивидуального отношения говорящего к предмету речи [1].

---

[1] Так определяет оценку Антон Марти, давший наиболее тонкий детализованный анализ словесных значений. См. A. Marti «Untersuchungen zur Grundlegung der allgemeinen Grammatik und Sprachphilosophie» (Halle, 1908).

В русской литературе об оценке как о *созначении* слова говорит Г. Шпет. Для него характерно резкое разделение предметного значения и оценивающего созначения, которые он помещает в разные сферы действительности. Такой разрыв между предметным значением и оценкой совершенно недопустим и основан на том, что не замечаются более глубокие функции оценки в речи. Предметное значение формируется оценкой, ведь оценка определяет то, что данное предметное значение вошло в кругозор говорящих — как в ближайший, так и в более широкий социальный кругозор данной социальной группы. Далее, оценке принадлежит именно творческая роль в изменениях значений. Изменение значения есть, в сущности, всегда *переоценка*: перемещение данного слова из одного ценностного контекста в другой. Слово или возводится в высший ранг, или бывает разжаловано в низший. Отделение значения слова от оценки неизбежно приводит к тому, что значение, лишенное места в живом социальном становлении (где оно всегда пронизано оценкой), онтологизируется, превращается в идеальное бытие, отрешенное от исторического становления.

Именно для того, чтобы понять историческое становление темы и осуществляющих ее значений, необходимо учитывать социальную оценку. Становление смысла в языке всегда связано со становлением ценностного кругозора данной социальной группы, и становление ценностного кругозора — в смысле совокупности всего того, что имеет значение, имеет важность для данной группы — всецело определяется расширением экономического базиса. На почве расширения базиса реально расширяется круг бытия, доступного, понятного и существенного для человека. Первобытному скотоводу почти ни до чего нет дела, и почти ничто его не касается. Человеку конца капиталистической эпохи — до всего прямое дело, до отдаленнейших краев земли, даже до отдаленнейших звезд. Это расширение ценностного кругозора совершается диалектически. Новые стороны бытия, вовлекаемые в круг социального интереса, приобщаются человеческому слову и пафосу, не оставляют в покое уже вовлеченные раньше элементы бытия, а вступают с ними в борьбу, переоценивают их, перемещают их место в единстве ценностного кругозора. Это диалектическое становление отражается в становлении языковых смыслов. Новый смысл раскрывается в старом и с помощью старого, но для того, чтобы вступить в противоречие с этим старым смыслом и перестроить его.

Отсюда непрестанная борьба акцентов в каждом смысловом участке бытия. В составе смысла нет ничего, что стояло бы над становлением, что было бы независимо от диалектического расширения социального кругозора. Становящееся общество расширяет свое восприятие становящегося бытия. В этом процессе не может быть ничего абсолютно устойчивого. Поэтому-то значение — абстрактный, себетождественный элемент — поглощается темой, раздирается ее живыми противоречиями, чтобы вернуться в виде нового значения с такою же мимолетною устойчивостью и себетождественностью.

ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ

К ИСТОРИИ ФОРМ ВЫСКАЗЫВАНИЯ В КОНСТРУКЦИЯХ ЯЗЫКА

Глава I

ТЕОРИЯ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И ПРОБЛЕМЫ СИНТАКСИСА

Значение проблем синтаксиса. Синтаксические категории и высказывание как целое. Проблема абзацев. Проблема форм передачи чужой речи.

На почве традиционных принципов и методов языкознания и особенно на почве абстрактного объективизма, где эти методы и принципы нашли свое наиболее отчетливое и последовательное выражение, нет продуктивного подхода к проблемам синтаксиса. Все основные категории современного лингвистического мышления, выработанные преимущественно на почве индогерманского сравнительного языкознания, насквозь *фонетичны* и *морфологичны.* Это мышление, воспитанное на сравнительной фонетике и морфологии, на все остальные явления языка способно смотреть лишь сквозь очки фонетических и морфологических форм. Сквозь эти очки оно пытается взглянуть и на проблемы синтаксиса, что приводит к морфологизации их[1]. Поэтому с синтаксисом дело обстоит чрезвычайно плохо, что открыто признается и большинством представителей индогерманистики.

Это вполне понятно, если мы вспомним основные особенности восприятия мертвого и чужого языка, — восприятия, руководимого основными целями расшифрования этого языка и научения ему других[2].

Между тем, для правильного понимания языка и его становления проблемы синтаксиса имеют громадное значение. Ведь из форм языка *синтаксические формы более всего приближаются к конкретным формам высказывания,* к формам конкретных речевых выступлений. Все синтаксические расчленения речи являются расчленением живого тела высказыва-

[1] Эта скрытая тенденция морфологизовать синтаксическую форму имеет своим следствием то, что в синтаксисе, как нигде в языкознании, господствует схоластическое мышление.

[2] К этому присоединяются еще особенные цели сравнительного языкознания: установление родства языков, их генетического ряда и праязыка. Эти цели еще более содействуют примату фонетики в лингвистическом мышлении. Проблема сравнительного языковедения, очень важная в современной философии языка вследствие того огромного места, какое занимает это языкознание в новое время, к сожалению, в пределах настоящей работы осталась вовсе незатронутой. Проблема эта очень сложна, и для самого поверхностного анализа ее потребовалось бы значительное расширение книги.

ния и потому с наибольшим трудом поддаются отнесению к абстрактной системе языка. Синтаксические формы конкретнее морфологических и фонетических и теснее связаны с реальными условиями говорения. Поэтому в нашем мышлении живых явлений языка именно синтаксическим формам должен принадлежать примат над морфологическими и фонетическими. Но из сказанного нами ясно также, что продуктивное изучение синтаксических форм возможно только на почве разработанной теории высказывания. Пока высказывание в его целом остается terra incognita для лингвиста — не может быть и речи о действительном, конкретном, а не схоластическом понимании синтаксической формы.

Мы уже говорили, что с целым высказывания в лингвистике дело обстоит чрезвычайно плохо. Можно прямо сказать, что *лингвистическое мышление безнадежно утратило ощущение речевого целого.* Увереннее всего себя чувствует лингвист в середине фразы. Чем дальше к границам речи, к целому высказывания, тем позиция его становится все неувереннее. К целому же вообще у него нет подхода; ни одна из лингвистических категорий не пригодна для определения целого.

Ведь все лингвистические категории как таковые применимы лишь на внутренней территории высказывания. Так, все морфологические категории имеют значимость лишь внутри высказывания; как определения для целого они отказываются служить. Так же и синтаксические категории, например, категория «предложение»; она определяет лишь предложение внутри высказывания как элемент его, но отнюдь не как целое.

Чтобы убедиться в этой принципиальной «элементарности» всех лингвистических категорий, достаточно взять законченное (относительно, конечно, — ибо всякое высказывание — часть речевого процесса) высказывание, состоящее из одного слова. Мы сразу убедимся, если проведем данное слово по всем лингвистическим категориям, что все эти категории определяют слово лишь как возможный элемент речи и не покрывают целого высказывания. Тот плюс, который превращает данное слово в целое высказывание, остается за бортом всех без исключения лингвистических категорий и определений. Доразвив данное слово до законченного предложения со всеми членами (по рецепту «подразумевается»), мы получим простое предложение, а вовсе не высказывание. Под какие лингвистические категории мы ни подводили бы это предложение, мы никогда не найдем как раз того, что превращает его в целое высказывание. Таким образом, оставаясь в преде-

лах наличных в современной лингвистике грамматических категорий, мы никогда не поймаем неуловимое речевое целое. Лингвистические категории упорно нас тянут от высказывания и его конкретной структуры в абстрактную систему языка.

Но не только высказывание как целое, но и все сколько-нибудь законченные части монологического высказывания не имеют лингвистических определений. Так обстоит дело с *абзацами,* отделяемыми друг от друга красной строкой. Синтаксический состав этих абзацев — чрезвычайно разнообразен: они могут включать в себя от одного слова до большого числа сложных предложений. Сказать, что абзац должен заключать в себе законченную мысль, значит ровно ничего не сказать. Ведь требуются определения с точки зрения самого языка, — законченность мысли ни в какой мере не является языковым определением. Если, как мы полагаем, нельзя совершенно отрывать лингвистических определений от идеологических, то нельзя и подменять одни другими.

Если б мы глубже вникли в языковую сущность абзацев, то убедились бы, что они в некоторых существенных чертах аналогичны репликам диалога. Это — как бы *ослабленный и вошедший внутрь монологического высказывания диалог.* Ощущение слушателя и читателя и его возможных реакций лежит в основе распадения речи на части, в письменной форме обозначаемые как абзацы. Чем слабее это ощущение слушателя и учет его возможных реакций, тем более нерасчлененной, в смысле абзацев, будет наша речь. Классические типы абзацев: вопрос-ответ (когда вопрос ставится самим автором и им же дается ответ); дополнения; предвосхищения возможных возражений; обнаружение в собственной речи кажущихся противоречий и нелепостей и пр., и пр.[1] Очень распространен случай, когда мы делаем предметом обсуждения свою собственную речь или часть ее (например, предшествующий абзац). Здесь происходит перенесение внимания говорящего от предмета речи на самую речь (рефлексия над собственной речью). И эта перемена в направлении речевой интенции обусловливается интересом слушателя. Если бы речь абсолютно игнорировала слушателя (что, конечно, невоз-

[1] Здесь мы, конечно, только намечаем проблему абзацев. Наши утверждения звучат догматически, т. к. мы их не доказываем и не подтверждаем на соответствующем материале. Кроме того, мы упрощаем проблему. В письменной форме красною строкою (абзацами) передаются весьма различные типы членения монологической речи. Мы касаемся здесь лишь одного из важнейших типов такого членения, обусловленного учетом слушателя и его активного понимания.

можно), то ее органическая расчлененность свелась бы к минимуму. Мы отвлекаемся здесь, конечно, от специальных членений, обусловленных особыми заданиями и целями специфических идеологических областей, каковы, например, строфическое членение стихотворной речи или чисто логические членения по типу: предпосылки — вывод; тезис — антитезис и т. п.

Только изучение форм речевого общения и соответствующих форм целых высказываний может пролить свет на систему абзацев и на все аналогичные проблемы. Пока лингвистика ориентируется на изолированное монологическое высказывание, она лишена органического подхода ко всем этим вопросам. Только на почве речевого общения возможна разработка и более элементарных проблем синтаксиса. В этом направлении должен быть сделан тщательный пересмотр всех основных лингвистических категорий. Пробудившийся в последнее время в синтаксисе интерес к интонациям и связанные с этим попытки обновления определений синтаксических целых путем более тонкого и дифференцированного учета интонаций представляются нам мало продуктивными. Они могут стать продуктивными лишь в соединении с правильным пониманием основ речевого общения.

Одной из специальных проблем синтаксиса и посвящены следующие главы нашей работы.

Иногда чрезвычайно важно осветить по-новому какое-нибудь знакомое и, по-видимому, хорошо изученное явление — *обновленной проблематизацией* его, осветить в нем новые стороны с помощью ряда определенно направленных вопросов. Особенно это важно в тех областях, где исследование переобременено массою щепетильных и детальных, но лишенных всякого направления описаний и классификаций. При такой обновленной проблематизации может оказаться, что какое-нибудь явление, представлявшееся частным и второстепенным, имеет принципиальное значение для науки. Удачно поставленною проблемой можно вскрыть заложенные в таком явлении методические возможности.

Таким в высшей степени продуктивным «узловым» явлением представляется нам так называемая *чужая речь,* т. е. те синтаксические шаблоны («прямая речь», «косвенная речь», «несобственная прямая речь»), модификация этих шаблонов и вариации этих модификаций, какие мы встречаем в языке для передачи чужих высказываний и для включения этих высказываний именно как чужих в связный монологический

контекст. Исключительный методологический интерес, присущий этим явлениям, до сих пор совершенно не оценен. В этом, на поверхностный взгляд, второстепенном вопросе синтаксиса не умели увидеть проблемы громадной общелингвистической и принципиальной важности[1]. И именно при социологическом направлении научного интереса к языку вскрывается вся методологическая значительность, вся показательность этого явления.

Проблематизировать в социологическом направлении явление передачи чужой речи — такова задача нашей дальнейшей работы. На материале этой проблемы мы попытаемся наметить пути социологического метода в языкознании. Мы не претендуем на большие, положительные выводы специально исторического характера: самый материал, привлеченный нами, достаточный для того, чтобы развернуть проблему и показать необходимость ее социологической направленности, далеко не достаточен для широких исторических обобщений. Эти последние имеют место лишь в форме предварительной и гипотетической.

---

[1] В синтаксисе Пешковского, например, этому явлению посвящено всего 4 страницы. См. А. М. Пешковский, «Русский синтаксис в научном освещении», изд. П. М., 1920, стр. 465—468.

Глава II

ЭКСПОЗИЦИЯ ПРОБЛЕМЫ «ЧУЖОЙ РЕЧИ»

Определение «чужой речи». Проблема активного восприятия чужой речи в связи с проблемою диалога. Динамика взаимоотношения авторского контекста и чужой речи. «Линейный стиль» передачи чужой речи. «Живописный стиль» передачи чужой речи.

«Чужая речь» — это *речь в речи, высказывание в высказывании,* но в то же время это и *речь о речи, высказывание о высказывании.*

Все то, о чем мы говорим, является только содержанием речи, темою наших слов. Такою темой — и только темой — может быть, например, «природа», «человек», «придаточное предложение» (одна из тем синтаксиса); но чужое высказывание является не только темой речи: оно может, так сказать, самолично войти в речь и ее синтаксическую конструкцию как особый конструктивный элемент ее. При этом чужая речь сохраняет свою конструктивную и смысловую самостоятельность, не разрушая и речевой ткани принявшего ее контекста.

Более того, чужое высказывание, оставаясь только темою речи, может быть лишь поверхностно охарактеризовано. Для того, чтобы проникнуть в его содержательную полноту, необходимо ввести его в конструкцию речи. Оставаясь в пределах тематического изображения чужой речи, можно ответить на вопросы: «как» и «о чем» говорил NN, но «что» он говорил, — может быть раскрыто только путем передачи его слов, хотя бы в форме косвенной речи.

Но, будучи конструктивным элементом авторской речи, входя в нее самолично, чужое высказывание в то же время является и темой авторской речи, входит в ее тематическое единство, именно как чужое высказывание, его же самостоятельная тема входит как *тема темы чужой речи.*

Чужая речь мыслится говорящим как высказывание *другого* субъекта, первоначально совершенно самостоятельное, конструктивно законченное и лежащее вне данного контекста. Вот из этого самостоятельного существования чужая речь и переносится в авторский контекст, сохраняя в то же время свое предметное содержание и хотя бы рудименты своей языковой целостности и первоначальной конструктивной независимости. Авторское высказывание, принявшее в свой состав другое высказывание, вырабатывает синтаксические, стили-

стические и композиционные нормы для его частичной ассимиляции, для его приобщения к синтаксическому, композиционному и стилистическому единству авторского высказывания, сохраняя в то же время, хотя бы в рудиментарной форме, первичную самостоятельность (синтаксическую, композиционную, стилистическую) чужого высказывания, без чего полнота его неуловима.

В новых языках некоторым модификациям косвенной речи и, в особенности, несобственной прямой речи присуща тенденция переводить чужое высказывание из сферы речевой конструкции в тематический план, в содержание. Однако и здесь это растворение чужого слова в авторском контексте не совершается и не может совершиться до конца: и здесь помимо смысловых указаний сохраняется конструктивная упругость чужого высказывания, прощупывается тело чужой речи, как себедовлеющего целого.

Таким образом, в формах передачи чужой речи выражено *активное отношение* одного высказывания к другому, притом выражено не в тематическом плане, а в устойчивых конструктивных формах самого языка.

Перед нами явление *реагирования слова на слово*, однако резко и существенно отличное от диалога. В диалоге реплики грамматически разобщены и не инкорпорированы в единый контекст. Ведь *нет синтаксических форм, конструирующих единство диалога*. Если же диалог дан в объемлющем его авторском контексте, то перед нами случай прямой речи, т. е. одна из разновидностей изучаемого нами явления.

Проблема диалога начинает все более и более привлекать к себе внимание лингвистов, а иногда прямо становится в центре лингвистических интересов[1]. Это вполне понятно: ведь реальною единицею языка речи (Sprache als Rede), как мы уже знаем, является не изолированное единичное монологическое высказывание, а взаимодействие, по крайней мере, двух высказываний, т. е. диалог. Но продуктивное изучение диалога предполагает более глубокое исследование форм передачи чужой речи, ибо в них отражаются основные и константные тенденции *активного восприятия чужой речи*; а ведь это восприятие является основополагающим и для диалога.

В самом деле, как воспринимается чужая речь? Как живет чужое высказывание в конкретном внутренне-речевом сознании воспринимающего, как оно активно прорабатывается в

[1] В русской литературе проблеме диалога с лингвистической точки зрения посвящена только одна работа: Л. П. Якубинский. «О диалогической речи», сб. «Русская Речь», Петр., 1923 г. Интересные замечания о ди-

нем и как ориентируется в отношении к нему последующая речь самого воспринявшего?

— В формах передачи чужой речи перед нами именно объективный документ такого восприятия. Этот документ, если уметь его прочесть, говорит нам не о случайных и зыбких субъективно-психологических процессах «в душе» воспринимающего, а об устойчивых социальных тенденциях активного восприятия чужой речи, отлагающихся в формах языка. Механизм этого процесса — не в индивидуальной душе, а в обществе, отбирающем и грамматикализирующем (т. е. приобщающем к грамматической структуре языка) лишь те моменты в активном оценивающем восприятии чужого высказывания, которые социально существенны и константны и, следовательно, обоснованы в самом экономическом бытии данного говорящего коллектива.

Конечно, между активным восприятием чужой речи и ее передачей в связном контексте имеются существенные различия. Их не следует игнорировать. Всякая, в особенности закрепленная, передача преследует какие-нибудь специальные цели: рассказ, судебный протокол, научная полемика и т. п. Далее, передача рассчитана на третьего, т. е. на того, кому именно передаются чужие слова. Эта ориентация на третьего особенно важна: она усиливает влияние организованных социальных сил на речевое восприятие. В живом диалогическом общении, в самый момент передачи воспринятых слов собеседника, слова, на которые мы отвечаем, обычно отсутствуют. Мы повторяем в своем ответе слова собеседника только в особых, исключительных случаях: чтобы подтвердить правильность своего понимания, чтобы поймать его на слове и пр. Все эти специфические моменты передачи должны быть учтены. Но существо дела от этого не меняется. Условия передачи и ее цели способствуют лишь актуализации того, что уже заложено в тенденциях внутренне-речевого активного восприятия, а эти последние, в свою очередь, могут развиваться лишь в пределах имеющихся в языке форм передачи речи.

Мы, конечно, далеки от утверждения, что синтаксические формы, например, косвенной или прямой речи прямо и непосредственно выражают тенденции и формы активного оценивающего восприятия чужого высказывания. Конечно, мы не

алоге полулингвистического характера имеются в книге В. Виноградова «Поэзия Анны Ахматовой», Лен., 1925 г. (в гл. «Гримасы диалога»). В немецкой литературе проблемы диалога в настоящее время усиленно разрабатываются в школе Фослера. См. особенно уже цитированное «Die uneigentliche direkte Rede» в «Festschrift für Karl Vossler» (1922).

воспринимаем прямо в формах косвенной или прямой речи. Они лишь устойчивые шаблоны передачи. Но, с одной стороны, эти шаблоны и их модификации могли возникнуть и сложиться лишь в направлении господствующих тенденций восприятия чужой речи, а с другой — поскольку они уже сложились и наличны в языке, они оказывают регулирующее, стимулирующее или тормозящее влияние на развитие тенденций оценивающего восприятия, которые движутся в преднамеченном этими формами русле.

Язык отражает не субъективно-психологические колебания, а устойчивые социальные взаимоотношения говорящих. В различных языках, в различные эпохи, в различных социальных группах, в различных целевых контекстах преобладает то одна, то другая форма, то одни, то другие модификации этих форм. Все это говорит о слабости или силе тех тенденций социальной взаимоориентации говорящих, — устойчивыми, вековыми отложениями которых и являются данные формы. Если в определенных условиях какая-нибудь форма оказывается в загоне (например, некоторые — именно «рационально-догматические» — модификации косвенной речи в современном русском романе), то это свидетельствует о том, что преобладающим тенденциям понимания и оценки чужого высказывания трудно проявляться в этой форме, не дающей им простора, тормозящей их.

Все существенное в оценивающем восприятии чужого высказывания, все, могущее иметь какое-либо идеологическое значение, выражено в материале внутренней речи. Ведь воспринимает чужое высказывание не немое бессловесное существо, а человек, полный внутренних слов. Все его переживания, — так называемый апперцептивный фон, — даны на языке его внутренней речи и лишь постольку соприкасаются с воспринимаемою внешнею речью. Слово соприкасается со словом. В контексте этой внутренней речи и совершается восприятие чужого высказывания, его понимание и оценка, т. е. активная ориентация говорящего. Это активное внутренне-речевое восприятие идет в двух направлениях: во-первых, чужое высказывание обрамляется *реально-комментирующим контекстом* (совпадающим частично с тем, что называют апперцептивным фоном слова), ситуацией (внутренней и внешней), зримой экспрессией и пр.; во-вторых, *подготовляется реплика* (Gegenrede). И подготовка реплики — *внутреннее реплицирование*[1] и *реальное комментирование*, конечно, органически

[1] Термин заимствован у Якубинского,— см. названную статью, стр. 136.

слиты в единстве активного восприятия и выделимы лишь абстрактно. Оба направления восприятия находят свое выражение, объективируются в окружающем чужую речь «авторском» контексте. Независимо от того, какова целевая направленность данного контекста — будет ли это художественный рассказ, полемическая статья, защитная речь адвоката и т. п., — мы явственно различим в нем эти две тенденции: *реально-комментирующую* и *реплицирующую*; причем обычно преобладает одна из них. Между чужою речью и передающим ее контекстом господствуют сложные и напряженные динамические отношения. Не учитывая их, нельзя понять форму передачи чужой речи.

Основная ошибка прежних исследователей форм передачи чужой речи заключается в почти полном отрыве ее от передающего контекста. Отсюда и статичность, неподвижность в определении этих форм (эта статичность характерна вообще для всего научного синтаксиса). Между тем, истинным предметом исследования должно быть именно динамическое взаимоотношение этих двух величин — передаваемой («чужой») и передающей («авторской») речи. Ведь реально они существуют, живут и формируются только в этом взаимодействии, а не сами по себе в своей отдельности. Чужая речь и передающий контекст — только термины динамического взаимоотношения. Эта динамика, в свою очередь, отражает динамику социальной взаимоориентации словесно-идеологически общающихся людей (конечно, в существенных и устойчивых тенденциях этого общения).

В каких направлениях может развиваться динамика взаимоотношений авторской и чужой речи?

Мы наблюдаем два основных направления этой динамики.

Во-первых, основная тенденция активного реагирования на чужую речь может блюсти ее целостность и автентичность. Язык может стремиться создавать отчетливые и устойчивые грани чужой речи. В этом случае шаблоны и их модификации служат более строгому и четкому выделению чужой речи, ограждению ее от проникновения авторских интонаций, к сокращению и развитию ее индивидуально-языковых особенностей.

Таково первое направление. В пределах его должно строго различать, насколько дифференцировано в данной языковой группе социальное восприятие чужой речи, насколько раздельно ощущаются и социально весомы экспрессия, стилистические особенности речи, лексикологическая окраска и пр. Или же чужая речь воспринимается лишь как целостный, социаль-

ный акт, как некая неделимая, смысловая позиция говорящего, т. е. воспринимается только *что* речи и за порогом восприятия остается ее *как*. Такой предметно-смысловой и в языковом отношении обезличивающий тип восприятия и передачи чужой речи господствует в старо- и среднефранцузском языке (в последнем значительное развитие обезличивающих модификаций косвенной речи) [1]. Тот же тип мы встречаем в памятниках древнерусской письменности, однако при почти полном отсутствии шаблона косвенной речи. Господствующий здесь тип—обезличенная (в языковом смысле) прямая речь [2].

В пределах первого направления должно также различать и степень авторитарного восприятия слова, степень его идеологической уверенности и догматичности. Чем догматичнее слово, чем менее допускает понимающее и оценивающее восприятие какие-либо переходы между истиной и ложью, между добром или злом, тем более будут обезличиваться формы передачи чужой речи. Ведь при грубой и резкой альтернативности всех социальных оценок нет места для положительного и внимательного отношения ко всем индивидуализующим моментам чужого высказывания. Такой авторитарный догматизм характерен для среднефранцузской письменности и для нашей древней письменности. Для XVII века во Франции и XVIII у нас — характерен рационалистический догматизм, так же, хотя и в других направлениях, понижающий речевую индивидуацию. В пределах рационалистического догматизма преобладают предметно-аналогические модификации косвенной речи и риторические модификации прямой речи [3]. Четкость и ненарушимость взаимных границ авторской и чужой речи достигает здесь наивысшего предела.

Это первое направление в динамике речевой взаимоориентации авторской и чужой речи мы,пользуясь искусствоведческим термином Вельфлина, назвали бы *линейным стилем* (der lineare Stil) передачи чужой речи. Основная тенденция его — создание отчетливых, внешних контуров чужой речи при сла-

---

[1] О некоторых особенностях в данном отношении старофранц. яз. см. ниже. О передаче чужой речи в среднефранц. яз. см. Gertraud Lerch, «Die uneigentliche direkte Rede» в «Festschrift für Karl Vossler» (1922), стр. 112 и сл. Также: Karl Vossler, «Frankreichs Kultur im Spiegel seiner Sprachentwicklung» (1913).

[2] Напр., в «Слове о полку Игореве» нет ни одного случая косвенной речи, несмотря на обилие в этом памятнике «чужой речи». В летописях она чрезвычайно редка. Чужая речь всюду вводится в форме компактной, непроницаемой массы, очень слабо или совершенно не индивидуализованной.

[3] В русском классицизме почти отсутствует косвенная речь.

бости ее внутренней индивидуации. При полной стилистической однородности всего контекста (автор и все его герои говорят одним и тем же языком), грамматически и композиционно чужая речь достигает максимальной замкнутости и скульптурной упругости.

При втором направлении динамики взаимоориентации авторской и чужой речи мы замечаем процессы прямо противоположного характера. Язык вырабатывает способы более тонкого и гибкого внедрения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь. Авторский контекст стремится к разложению компактности и замкнутости чужой речи, к ее рассасыванию, к стиранию ее границ. Этот стиль передачи чужой речи мы можем назвать *живописным*. Его тенденция — стереть резкие внешние контуры чужого слова. При этом самая речь в гораздо большей степени индивидуализована; ощущение разных сторон чужого высказывания может быть тонко дифференцированным. Воспринимается не только его предметный смысл, содержащееся в нем утверждение, но также и все языковые особенности его словесного воплощения.

В пределах этого второго направления возможно также несколько разнородных типов. Активность в ослаблении границ высказывания может исходить из авторского контекста, пронизывающего чужую речь своими интонациями, юмором, иронией, любовью или ненавистью, восторгом или презрением. Этот тип характерен для эпохи Возрождения (особенно во французском языке), для конца XVIII и почти для всего XIX века. Авторитарный и рациональный догматизм слова при этом совершенно ослаблен. Господствует некоторый релятивизм социальных оценок, чрезвычайно благоприятный для положительного и чуткого восприятия всех индивидуально-языковых нюансов мысли, убеждения, чувства. На этой почве развивается и «колоризм» чужого высказывания, приводящий иногда к понижению смыслового момента в слове (напр., в «натуральной школе», да и у самого Гоголя слова героев иногда почти утрачивают предметный смысл, становясь колоритною вещью, аналогичной костюму, наружности, предметам бытовой обстановки и пр.).

Но возможен и другой тип: речевая доминанта переносится в чужую речь, которая становится сильнее и активнее обрамляющего ее авторского контекста и сама как бы начинает его рассасывать. Авторский контекст утрачивает свою присущую ему нормально бо̀льшую объективность сравнительно с чужою речью. Он начинает восприниматься и сам себя осозна-

ет в качестве столь же субъективной «чужой речи». В художественных произведениях это часто находит свое композиционное выражение в появлении рассказчика, замещающего автора в обычном смысле слова. Речь его так же индивидуализована, колоритна и идеологически неавторитетна, как и речь персонажей. Позиция рассказчика зыбка, и в большинстве случаев он говорит языком изображаемых героев. Он не может противопоставить их субъективным позициям более авторитетного и объективного мира. Таков рассказ у Достоевского, Андрея Белого, Ремизова, Сологуба и у современных русских романистов [1].

Если наступление авторского контекста на чужую речь характерно для сдержанного идеализма или сдержанного же коллективизма в восприятии чужой речи, то разложение авторского контекста свидетельствует о релятивистическом индивидуализме речевого восприятия. Субъективному чужому высказыванию противостоит сознающий себя столь же субъективным комментирующий и реплицирующий авторский контекст.

Для всего второго направления характерно чрезвычайное развитие смешанных шаблонов передачи чужой речи: несобственной косвенной речи и, особенно, несобственной прямой речи, наиболее ослабляющей границы чужого высказывания. Преобладают также те модификации прямой и косвенной речи, которые более гибки и более проницаемы для авторских тенденций (рассеянная прямая речь, словесно-аналитические формы косвенной речи и пр.).

Прослеживая все эти тенденции активного реагирующего восприятия чужой речи, должно все время учитывать все особенности изучаемых речевых явлений. Особенно важна *целевая направленность* авторского контекста. Художественная речь в данном отношении гораздо более чутко передает все пе-

[1] О роли рассказчика в эпосе существует довольно большая литература. Назовем до настоящего времени основной труд K. Friedemann: «Die Rolle des Erzählers in der Epik», 1910. У нас интерес к рассказчику возбужден «формалистами». Речевой стиль рассказчика у Гоголя В. В. Виноградов определяет как движущийся «зигзагами по линии от автора к героям» (см. его «Гоголь и натуральная школа»). В аналогичном отношении находится, по Виноградову, языковой стиль рассказчика «Двойника» к стилю Голядкина (см. его «Стиль петербургской поэмы «Двойник» в сб. «Достоевский», под ред. Долинина, I, 1923 г., стр. 239 и 241; сходство языка рассказчика с языком героя подметил уже Белинский). В своей работе о Достоевском Б. М. Энгельгардт совершенно справедливо указывает, что у Достоевского «нельзя найти так называемого объективного описания внешнего мира... Благодаря этому возникает та многоплановость действительности в художественном произведении, которая у преемников

ремены в социально-речевой взаимоориентации. Риторическая речь, в отличие от художественной, уже по самой своей целевой направленности не столь свободна в обращении с чужим словом. Риторика требует отчетливого ощущения границ чужой речи. Ей присуще обостренное чувство собственности на слово, щепетильность в вопросах автентичности. Судебно-риторическому языку свойственно отчетливое ощущение речевой субъективности «сторон» процесса сравнительно с объективностью суда, судебного решения и всей судебно-исследовательской комментирующей речи. Аналогична и политическая риторика. Важно определить, каков удельный вес риторической речи, судебной и политической, в языковом сознании данной социальной группы в данную эпоху. Далее, должно всегда учитывать социально-иерархическое положение передаваемого чужого слова. Чем сильнее ощущение иерархической высоты чужого слова, тем отчетливее его грани, тем менее оно доступно проникновению вовнутрь ее комментирующих и реплицирующих тенденций. Так, в пределах неоклассицизма, в низких жанрах имеются существенные отступления от рационально-догматического, линейного стиля передачи чужой речи. Характерно, что несобственная прямая речь впервые достигла могучего развития именно в баснях и сказках Лафонтена.

Резюмируя все сказанное нами о возможных тенденциях динамического взаимоотношения чужой и авторской речи, мы можем отметить следующие эпохи: *авторитарный догматизм*, характеризующийся линейным и безличным монументальным стилем передачи чужой речи (средневековье); *рационалистический догматизм* с его еще более отчетливым линейным стилем (XVII и XVIII век); *реалистический и критический инди-*

Достоевского приводит к своеобразному распаду бытия... Этот «распад бытия» Б. М. Энгельгардт усматривает в «Мелком бесе» Сологуба и в «Петербурге» А. Белого (см. Б. М. Энгельгардт, «Идеологический роман Достоевского» во II сборнике «Достоевский» под ред. Долинина, 1925 г., стр. 94). Вот как определяет Bally стиль Золя: «Золя как ни один другой писатель часто эксплуатирует прием, который состоит в том, что все события пропускаются через мозг персонажей, пейзаж воспринимается их глазами, собственные идеи провозглашаются их устами. В его последних романах эта манера становится привычкой, наваждением. В «Риме» — ни одного угла вечного города, ни одной сцены, не увиденной глазами его аббата, ни одной религиозной идеи, не сформулированной при помощи посредника». GRM. VI, 417. (Цитата заимствована из: E. Lorck «Die «Erlebte Rede». S. 64. Пер. изд. В оригинале — на фр. яз.) Проблеме рассказчика посвящена интересная статья Ильи Груздева «О приемах художественного повествования» («Записки Передвижного Театра». Петр. 1922 г. №№ 40, 41, 42). Однако лингвистическая проблема передачи чужой речи нигде в этих работах не поставлена.

видуализм с его живописным стилем и тенденцией проникновения авторского реплицирования и комментирования в чужую речь (конец XVIII и XIX век) и, наконец, *релятивистический индивидуализм* с его разложением авторского контекста (современность).

Язык существует не сам по себе, а лишь в сочетании с индивидуальным организмом конкретного высказывания, конкретного речевого выступления. Только через высказывание язык соприкасается с общением, проникается его живыми силами, становится реальностью. Условия речевого общения, его формы, способы дифференциации определяются социально-экономическими предпосылками эпохи. Эти меняющиеся условия социально-речевого общения и определяют разобранные нами изменения форм передачи чужого высказывания. Более того, нам кажется, что в этих формах ощущения самим языком чужого слова и говорящей личности особенно выпукло и рельефно проявляются меняющиеся в истории типы социально-идеологического общения.

Глава III

КОСВЕННАЯ РЕЧЬ, ПРЯМАЯ РЕЧЬ И ИХ МОДИФИКАЦИИ

Шаблоны и модификации; грамматика и стилистика. Общий характер передачи чужой речи в русском языке. Шаблон косвенной речи. Предметно-аналитическая модификация косвенной речи. Импрессионистическая модификация косвенной речи. Шаблон прямой речи. Подготовленная прямая речь. Овеществленная прямая речь. Предвосхищенная, рассеянная и скрытая прямая речь. Явление речевой интерференции. Риторические вопросы и восклицания. Замещенная прямая речь. Несобственная прямая речь.

Мы наметили основные направления динамики взаимоориентации авторской и чужой речи. Свое конкретное языковое выражение эта динамика находит в шаблонах передачи чужой речи и в модификациях этих шаблонов, которые и являются как бы показателями достигнутого в данный момент развития языка соотношения сил авторского и чужого высказывания.

Теперь мы перейдем к краткой характеристике шаблонов и их важнейших модификаций с точки зрения указанных нами тенденций развития.

Прежде всего несколько слов об отношении модификации к шаблону. Оно аналогично отношению живой действительности ритма к абстракции метра. Шаблон осуществляется лишь в форме определенной модификации его. В модификациях в течение веков или десятилетий накопляются те изменения, стабилизируются те новые навыки активной ориентации по отношению к чужой речи, которые затем отлагаются в виде прочных языковых образований в синтаксических шаблонах. Сами же модификации лежат на границе грамматики и стилистики. Иной раз возможен спор, является ли данная форма передачи чужой речи шаблоном или модификацией, вопросом грамматики или вопросом стилистики. Такой спор велся, например, по поводу *несобственной прямой речи* в немецком и французском языке между Bally с одной стороны и Kalepky и Lorck'ом — с другой. Bally отказывался признать в ней равноправный синтаксический шаблон и видел в ней лишь стилистическую модификацию. Спор может идти и о несобственной косвенной речи во французском языке. С нашей точки зрения проведение строгой границы между грамматикой и сти-

листикой, между грамматическим шаблоном и стилистической модификацией его — методологически нецелесообразно, да и невозможно. Эта граница зыбка в самой жизни языка, где одни формы находятся в процессе грамматикализации, другие — деграмматикализации, и именно эти двусмысленные, пограничные формы и представляют для лингвиста наибольший интерес: тенденции развития языка могут быть уловлены именно здесь [1].

Нашу краткую характеристику шаблона косвенной и прямой речи мы дадим только в пределах русского литературного языка. При этом мы совершенно не стремимся к исчерпывающему указанию всех возможных модификаций их. Нам важна лишь методологическая сторона вопроса.

Синтаксические шаблоны передачи чужой речи в русском языке, как известно, чрезвычайно слабо развиты. Кроме несобственной прямой речи, лишенной в русском языке каких бы то ни было отчетливых синтаксических признаков (как, впрочем, и в немецком языке), существуют два шаблона: *прямая* и *косвенная* речь. Но между этими двумя шаблонами нет резких различий, которые свойственны другим языкам. Признаки косвенной речи очень слабы, и в разговорном языке могут легко совмещаться с признаками прямой речи [2].

Отсутствие consecutio temporum и бездействие сослагательного наклонения лишает нашу косвенную речь своеобразия и не создает благоприятной почвы для обильного развития существенных и интересных для нашей точки зрения модификаций. Вообще приходится говорить о безусловном примате прямой речи в русском языке. В истории нашего языка не было

---

[1] Очень часто можно услышать обвинение Фослера и фослерианцев в том, что они занимаются больше вопросами стилистики, чем лингвистикой в строгом смысле слова. В действительности, школа Фослера интересуется вопросами пограничными, поняв их методологическое и эвристическое значение, и в этом мы усматриваем огромные преимущества этой школы. Беда в том, что в объяснении этих явлений фослерианцы, как мы знаем, на первый план выдвигают субъективно психологические факторы и индивидуально-стилистические задания. Этим иногда язык прямо превращается в игралище индивидуального вкуса.

[2] Во многих других языках косвенная речь синтаксически резко отличается от прямой (специальное употребление времен, наклонений, союзов, личных слов), так что в них существует специальный и очень сложный шаблон косвенной передачи речи... В нашем же языке даже те единственные признаки косвенной речи, о которых мы только что сказали, очень часто не выдерживаются, так что косвенная речь смешивается с прямой. Осип, напр., говорит в «Ревизоре»: «Трактирщик сказал, что не дам вам есть, пока не заплатите за старое». (Пешковский, «Русск. синт.», стр. 465—466. Разрядка автора.)

картезианского, рационалистического периода, когда разумно-самоуверенный и объективный «авторский контекст» анализировал и расчленял предметный состав чужой речи, создавал сложные и интересные модификации ее косвенной передачи.

Все эти особенности русского языка создают чрезвычайно благоприятную обстановку для живописного стиля передачи чужой речи, правда, несколько дряблого и расплывчатого, без ощущения преодолеваемых границ и сопротивлений (как в других языках). Господствует чрезвычайная легкость взаимодействия и взаимопроникновения авторской и чужой речи. Это находится в связи и с той малозначительною ролью, которую в истории нашего литературного языка сыграла риторика, с ее отчетливым линейным стилем в передаче чужого слова, с ее грубой, но определенной односмысленной интонацией.

Дадим прежде всего характеристику косвенной речи, как наименее разработанного в русском языке шаблона. Начнем с маленького критического замечания, направленного против А. М. Пешковского. Отметив, что у нас не выработаны формы косвенной речи, он делает следующее, в высшей степени странное заявление:

«Стоит только попробовать передать мало-мальски распространенную прямую речь косвенно («Осел, уставясь в землю лбом, говорит, что изрядно, что сказать не ложно, его без скуки слушать можно, но что жаль, что он не знаком с их петухом, что он еще бы больше навострился, когда бы у него немного поучился»), чтобы убедиться, что косвенная передача речи русскому языку *не свойственна»*[1] (Пешковский. «Русский синтаксис в научном освещении», изд. 2-е, стр. 466.).

Если бы Пешковский произвел тот же эксперимент непосредственного перелагания прямой речи в косвенную во французском языке, соблюдая лишь грамматические правила, он должен был бы прийти к тем же выводам. Если бы он, например, попытался перевести в формы косвенной речи прямую и даже несобственную прямую речь в баснях Лафонтена (эта последняя форма у Лафонтена очень распространена), то получил бы грамматически столь же правильное, стилистически столь же недопустимое построение, как и в своем русском примере. И это несмотря на то, что во французском языке несобственная прямая речь чрезвычайно близка к косвенной (те же времена и лица). Целый ряд слов, выражений и оборотов, уместных в прямой и несобственной прямой речи, бу-

[1] Курсив А. М. Пешковского.

дут звучать дико, перенесенные в конструкцию косвенной речи.

Пешковский совершает типичную для «грамматика» ошибку. Непосредственный, чисто грамматический перевод чужой речи из одного шаблона передачи в другой без соответствующей стилистической переработки его — есть только педагогически скверный и недопустимый метод классных упражнений по грамматике. С живою жизнью шаблонов в языке такое их применение ничего общего не имеет. Шаблоны выражают тенденцию активного восприятия чужой речи. Каждый шаблон по-своему творчески прорабатывает чужое высказывание в определенном, лишь этому шаблону свойственном направлении. Если язык на данной стадии своего развития ощущает чужое высказывание как компактное, неразложимое, неизменное и непроницаемое целое, то в нем и не будет никаких шаблонов, кроме примитивной, инертной прямой речи (монументальный стиль). На этой точке зрения неизменяемости чужого высказывания, абсолютной дословности его передачи стоит и Пешковский в своем эксперименте, но в то же время он пытается применить к нему шаблон косвенной речи. Полученный результат вовсе не доказывает несвойственности русскому языку косвенной передачи. Напротив, он доказывает, что, несмотря на слабую разработку шаблона косвенной речи, она в русском языке все же настолько своеобразна, что не всякая прямая речь поддается дословному переводу в этот шаблон[1].

Своеобразный эксперимент Пешковского свидетельствует о полном игнорировании им самого языкового смысла косвенной речи. Смысл этот заключается в *аналитической передаче чужой речи.* Одновременный с передачей и неотделимый от нее анализ чужого высказывания есть обязательный признак всякой модификации косвенной речи. Различными могут быть лишь степени и направления анализа.

Аналитическая тенденция косвенной речи проявляется прежде всего в том, что все *эмоционально-аффективные элементы* речи, поскольку они выражаются не в содержании, а в *формах* высказывания, не переходят в этом же виде в косвенную речь. Они переводятся из формы речи в ее содержание и лишь в таком виде вводятся в косвенную конструкцию или же переносятся даже в главное предложение, как коммен-

[1] Разобранная нами ошибка Пешковского лишний раз свидетельствует о методологической пагубности разрыва между грамматикой и стилистикой.

тирующее развитие вводящего речь глагола.

Например, прямую речь:

«Как хорошо! Это — исполнение!»

нельзя передать в косвенной речи так:

«Он сказал, что как хорошо и что это исполнение»

но или:

«Он сказал, что *это очень* хорошо и что *это настоящее* исполнение»

или же:

«Он восторженно сказал, что это хорошо и что это настоящее исполнение».

Все возможные в прямой речи на эмоционально-аффективной почве сокращения, пропуски и т. п. не допускаются аналитической тенденцией косвенной речи и в ее конструкцию входят только в развитом и полном виде. В примере Пешковского восклицание осла: «Изрядно!» не может быть непосредственно введено в косвенную речь:

«Говорит, что изрядно...»

но только:

«Говорит, что это изрядно...»

или даже

«Говорит, что соловей поет изрядно...»

Также не может быть непосредственно введено в косвенную речь «Сказать неложно». Также и выражение прямой речи: «А жаль, что не знаком»... и т. д. — нельзя передавать: «Но что жаль, что не знаком»... и т. д.

Само собой разумеется, что и всякое *конструктивное и конструктивно-акцентное* выражение намерений говорящего из прямой речи не может непосредственно в этой же форме перейти в косвенную речь. Так, конструктивные и акцентные особенности вопросительных, восклицательных и повелительных предложений не сохраняются в косвенной речи, отмечаясь лишь в ее содержании.

Косвенная речь *иначе* «слышит» чужое высказывание, активно воспринимает и актуализует в его передаче *иные* моменты и оттенки, чем другие шаблоны. Поэтому и невозможен непосредственный, дословный перевод высказывания из других шаблонов в косвенный. Он возможен лишь в тех случаях, когда прямое высказывание само уже построено несколько аналитически, конечно, в пределах возможной в прямой речи аналитичности. Анализ — душа косвенной речи.

Всматриваясь в «эксперимент» Пешковского, мы замечаем, что лексическая окраска таких слов, как «изрядно», «навострился» — не вполне гармонирует с аналитической душой

косвенной речи. Эти слова слишком *колоритны*; они рисуют *языковую манеру* (индивидуальную или типовую) *персонажа-осла*, а не только передают точный предметный смысл его высказывания. Их хочется заменить смысловыми эквивалентами («хорошо», «усовершенствоваться») или же, оставляя эти «словечки» в косвенной конструкции, заключить их все же в кавычки. И в самом чтении вслух данной косвенной речи мы несколько иначе произнесем указанные слова, как бы давая понять своей интонацией, что эти выражения взяты непосредственно из речи персонажа, что мы отгораживаемся от них.

Но здесь мы вплотную подходим к необходимости различать два направления, какие может принять аналитическая тенденция косвенной речи и, соответственно, две основных модификации ее.

Действительно, анализ косвенной конструкции может идти по двум направлениям или, точнее, может относиться к двум существенно различным объектам. Чужое высказывание может восприниматься как определенная *смысловая позиция* говорящего, и в этом случае с помощью косвенной конструкции аналитически передается его точный *предметный состав* (что сказал говорящий). Так, в нашем случае, возможна точная передача предметного смысла оценки ослом соловьиного пения. Но можно воспринять и аналитически передать чужое высказывание как *выражение*, характеризующее не только предмет речи (или даже не столько предмет речи), но и *самого говорящего*: его речевую манеру, индивидуальную или типовую (или и ту, и другую), его душевное состояние, выраженное не в содержании, а в формах речи (например: прерывистость, расстановка слов, экспрессивная интонация и пр.), его умение или неумение хорошо выражаться и т. п.

Эти два объекта аналитической косвенной передачи глубоко и принципиально различны. В одном случае расчленяется смысл на составляющие его смысловые, предметные моменты, в другом — само высказывание как такое разлагается на его словесно-стилистические пласты. Логическим пределом второй тенденции был бы лингвистико-стилистический анализ. Одновременно с таким, как бы стилистическим анализом, идет, однако, и в этом типе косвенной передачи предметный анализ чужой речи, и в результате получается аналитическое расчленение предметного смысла и воплощающей его словесной оболочки.

Назовем первую модификацию шаблона косвенной речи *предметно-аналитической*, вторую — *словесно-аналитической*. Предметно-аналитическая модификация воспринимает чужое

высказывание в *чистом тематическом плане*, а все то, что не имеет никакого тематического значения, она просто в нем не слышит, не улавливает. Те же стороны словесно-формальной конструкции, которые тематическое значение имеют, т. е. нужны для понимания смысловой позиции говорящего, наша модификация передает тематически же (так, в нашем примере восклицательная конструкция и экспрессия восторга могут быть переданы словом «очень») или прямо вводит их в авторский контекст как характеристику от автора.

Предметно-аналитическая модификация открывает широкие возможности для реплицирующих и комментирующих тенденций авторской речи, сохраняя в то же время *отчетливую* и *строгую дистанцию* между авторским и чужим словом. Благодаря этому она является прекрасным средством для линейного стиля передачи чужой речи. Этой модификации бесспорно присуща тенденция тематизировать чужое высказывание, сохраняя за ним не столько конструктивную, сколько смысловую упругость и самостоятельность (мы видели, как тематизуется в ней экспрессивная конструкция чужого высказывания). Это достигается, конечно, лишь ценой известного обезличивания передаваемой речи.

Сколько-нибудь широкое и существенное развитие предметно-аналитическая модификация может получить только в несколько рационалистическом и догматическом авторском контексте, в котором, во всяком случае, сильна смысловая заинтересованность, где автор своими словами сам, от своего лица, занимает какую-то смысловую позицию. Где этого нет, где авторское слово само колоритно и овеществлено или где прямо вводится соответствующего типа рассказчик, там эта модификация может иметь лишь весьма второстепенное эпизодическое значение (например, у Гоголя, у Достоевского и у др.).

В русском языке эта модификация в общем слабо развита. Преимущественно она встречается в познавательном и риторическом контексте (в научном, в философском, политическом и пр.), где приходится излагать чужие мнения на предмет, сопоставлять их, размежевываться с ними. В художественной речи она редка. Известное значение она приобретает лишь у тех авторов, которые не отказываются от *своего* слова в его *смысловой направленности* и весомости, например у Тургенева и, в особенности, у Толстого. Но и здесь мы не находим того богатства и разнообразия вариаций этой модификации, какое мы встречаем во французском и немецком языках.

Переходим к *словесно-аналитической модификации.* Она вводит в косвенную конструкцию слова и обороты чужой речи, характеризующие субъективную и стилистическую физиономию чужого высказывания как выражения. Эти слова и обороты вводятся так, что отчетливо ощущается их специфичность, субъективность, типичность, чаще же всего они прямо заключены в кавычки. Вот четыре примера:

1) «О покойном (Григорий) выразился, перекрестясь, что малый был со способностями, да глуп и *болезнью угнетен*, а *пуще безбожник*, и что его *безбожеству* Федор Павлович и старший сын учили» (Достоевский. «Братья Карамазовы»)[1].

2) «То же приключилось и с поляками: те явились гордо и независимо. Громко засвидетельствовали, что, во-первых, оба *«служили короне»* и что *«пан Митя»* предлагал им три тысячи, чтобы купить их честь, и что они сами видели большие деньги в руках его» (ibid.)[1].

3) «Красоткин гордо отпарировал это обвинение, выставив на вид, что со сверстниками, с тринадцатилетними, действительно было бы позорно играть *«в наш век»* в лошадки, но что он делает это для *«пузырей»*, потому что их любит, а в чувствах его никто не смеет у него спрашивать отчета» (ibid.)[1]

4) «Он нашел ее (т. е. Настасью Филипповну) в состоянии, похожем на совершенное помешательство: она вскрикивала, дрожала, кричала, что Рогожин спрятан в саду, у них же в доме, что она сейчас видела, что он ее *убьет ночью... зарежет!..»*[1] (Достоевский. «Идиот». Здесь в косвенной конструкции сохранена экспрессия чужого высказывания).

Введенные в косвенную речь и ощущаемые в своей специфичности чужие слова и выражения (особенно, если они заключены в кавычки) «остраняются», говоря языком формалистов, и остраняются именно в том направлении, в каком это нужно автору; они овеществляются, их колоритность выступает ярче, а в то же время на них ложатся тона авторского отношения — иронии, юмора и пр.

Эту модификацию косвенной речи следует отличать от случаев непосредственного перехода косвенной речи в прямую, хотя функции их почти однородны: когда прямая речь продолжает косвенную, ее речевая субъективность выступает отчетливее и в нужном автору направлении. Например:

1) «Трифон Борисович, как ни вилял, но после допроса мужиков в найденной сторублевой сознался, прибавив только, что Дмитрию Федоровичу тогда же свято все возвратил и вручил *«по самой честности, и что вот только они сами, буду-*

---

[1] Курсив наш.

чи в то время совсем пьяным-с, вряд ли это могут припомнить» (Достоевский. «Братья Карамазовы») [1].

2) «При всей глубочайшей почтительности к памяти своего бывшего барина, он все-таки, например, заявил, что тот был к Мите несправедлив и *«не так воспитал детей. Его, малого мальчика, без меня вши бы заели»,* прибавил он, повествуя о детских годах Мити» (ibid.) [1].

Этот случай, где прямая речь подготовляется косвенной и как бы непосредственно из нее возникает, — подобно пластическому образу, не вполне отделившемуся от необработанной глыбы в скульптурах Родэна, — является одной из бесчисленных модификаций прямой речи в ее живописной трактовке.

Такова словесно-аналитическая модификация косвенной конструкции. Она создает совершенно своеобразные живописные эффекты в передаче чужой речи. Эта модификация предполагает высокую степень индивидуации чужого высказывания в языковом сознании, уменье дифференцированно ощущать словесные оболочки высказывания и его предметный смысл. Это не свойственно ни авторитарному, ни рационалистическому восприятию чужого высказывания. Как употребительный стилистический прием, она может укорениться в языке лишь на почве критического и реалистического индивидуализма, между тем как предметно-аналитическая модификация характерна именно для рационалистического индивидуализма. В истории русского литературного языка этот последний период почти совершенно отсутствовал. Поэтому-то мы наблюдали несравненное преобладание словесно-аналитической модификации над предметной. Отсутствие consecutio temporum в русском языке также в высшей степени благоприятно для развития словесно-аналитической модификации.

Мы видим, таким образом, что наши две модификации, хотя и объединены общей аналитической тенденцией шаблона, но выражают глубоко различные языковые концепции чужого слова и говорящей личности. Для первой модификации говорящая личность дана лишь как занимающая определенную смысловую позицию (познавательную, этическую, жизненную, житейскую) и вне этой позиции, передаваемой строго-предметно, она не существует для передающего. Здесь нет места для сгущения ее в образ. Во второй модификации, наоборот, личность дана как субъективная *манера* (индивидуальная и

[1] Курсив наш.

типовая), манера мыслить и говорить, инвольвирующая и авторскую оценку этой манеры. Здесь говорящая личность уже сгущается до образа.

В русском языке может быть указана еще и третья, довольно существенная, модификация косвенной конструкции, применяемая главным образом для передачи внутренней речи, мыслей и переживаний героя. Эта модификация очень свободно трактует чужую речь, сокращая ее, часто намечая лишь ее темы и доминанты, и потому она может быть названа *импрессионистической*. Авторская интонация легко и свободно переплескивается в ее зыбкую структуру. Вот классический образец такой импрессионистической модификации из «Медного Всадника»:

«О чем же думал он? о том, что был он беден; что трудом он должен был себе доставить и независимость и честь; что мог бы бог ему прибавить ума и денег. Что ведь есть такие праздные счастливцы, ума недальнего, ленивцы, которым *жизнь куда легка!* Что служит он всего два года; он также думал, что погода не унималась; что река все прибывала; что едва ли с Невы мостов уже не сняли и что с Парашей будет он дня на два, на три разлучен. Так он мечтал...»[1]

Мы усматриваем из этого примера, что импрессионистическая модификация косвенной речи лежит где-то посредине между предметно-аналитической и словесно-аналитической. Временами здесь производится отчетливо предметный анализ. Некоторые слова и обороты явно рождены из сознания самого Евгения (однако, без подчеркивания их специфичности). Но сильнее всего слышится ирония самого автора, его акцентуация, его активность в расположении и сокращении материала.

Перейдем теперь к *шаблону прямой речи.* Он чрезвычайно хорошо разработан в русском литературном языке и обладает громадным разнообразием существенно-различных модификаций. От громоздких, инертных и неразложимых глыб прямой речи в древних памятниках до современных гибких и часто двусмысленных способов введения ее в авторский контекст лежит длинный и поучительный исторический путь ее развития. Но здесь мы должны отказаться как от рассмотрения этого исторического пути, так и от статического описания наличных модификаций прямой речи в литературном языке. Мы ограничимся лишь теми модификациями, в которых совершается взаимный обмен интонациями, как бы взаимное зараже-

[1] Курсив наш.

ние между авторским контекстом и чужою речью. Притом нас интересуют не столько те случаи, где авторская речь ведет наступление на чужое высказывание, пронизывая его своими интонациями, сколько те, где, наоборот, чужие слова расползаются и рассеиваются по всему авторскому контексту, делая его зыбким и двусмысленным. Впрочем, между теми и другими случаями не всегда можно провести резкую границу: очень часто заражение бывает именно взаимным.

Первому направлению динамики взаимоотношения (наступлению автора) служит та модификация, которую можно назвать *подготовленною прямою речью*[1].

Сюда относится уже знакомый нам случай возникновения прямой речи из косвенной. Особенно интересным и распространенным случаем этой модификации является возникновение прямой речи из «несобственной прямой», которая подготовляет ее апперцепцию, будучи сама полу-рассказом, полу-чужой речью. Основные темы будущей прямой речи здесь предвосхищаются контекстом и окрашиваются авторскими интонациями; этим путем границы чужого высказывания чрезвычайно ослабляются. Классическим образцом этой модификации является изображение состояния князя Мышкина перед эпилептическим припадком в «Идиоте» Достоевского, именно — почти вся пятая глава второй части этого произведения (здесь же и великолепные образцы несобственной прямой речи). Прямая речь князя Мышкина в этой главе все время звучит в его собственном мире, так как рассказ ведется автором в пределах его (князя Мышкина) кругозора. Для чужого слова здесь создается полу-чужой (героя же), полу-авторский апперцептивный фон. Правда, этот случай со всей наглядностью показывает нам, что такое глубокое проникновение авторских интонаций в прямую речь почти всегда связано с ослаблением объективности самого авторского контекста.

Другую модификацию, служащую той же тенденции, можно назвать *овеществленною прямою речью*. Здесь авторский контекст строится так, что объектные определения героя (от автора) бросают густые тени на его прямую речь. На слова героя переносятся те оценки и эмоции, которыми насыщено его объектное изображение. Смысловой вес чужих слов понижается, но зато усиливается их характерологическое значение, их колоритность или их бытовая типичность. Так, когда

---

[1] Мы не касаемся более примитивных способов авторского реплицирования и комментирования прямой речи: внесение в нее авторского курсива (т. е. перемещение акцента); перебивание ее различными замечаниями, заключениями в скобки или просто знаками восклицания, вопроса, недоуме-

мы по гриму, костюму и общему tenu узнаем на сцене комический персонаж, мы уже готовы смеяться, прежде чем вникнем в смысл его слов. Такова, в большинстве случаев, прямая речь у Гоголя и у представителей так называемой «натуральной школы». В своем первом произведении Достоевский и попытался вернуть душу этому овеществленному чужому слову.

Подготовка чужой речи и предвосхищение рассказом ее темы, ее оценок и акцентов может настолько субъективировать и окрасить в тона героя авторский контекст, что он сам начнет звучать как «чужая речь», правда, включающая все же авторские интонации. Ведение рассказа исключительно в пределах кругозора самого героя, за что, как мы видели, Bally упрекал еще Золя, притом не только в пределах пространственного и временного, но и ценностного интонационного кругозора, создает в высшей степени своеобразный апперцептивный фон для чужого высказывания. Это дает право говорить об особой модификации *предвосхищенной и рассеянной* чужой речи, *запрятанной* в авторском контексте и как бы прорывающейся в действительном прямом высказывании героя.

Эта модификация очень распространена в современной прозе особенно у Андрея Белого и тех писателей, которые находятся под его влиянием (см., напр., Эренбург. «Николай Курбов»). Но классические образцы ее нужно искать в произведениях Достоевского первого и второго периода (в последнем периоде эта модификация встречается реже). Мы остановимся на анализе его повести «Скверный анекдот».

Весь рассказ может быть взят в кавычки как рассказ «рассказчика», хотя тематически и композиционно не отмеченного. Но и внутри рассказа почти каждый эпитет, определение, оценка могут тоже быть взяты в кавычки как рожденные из сознания того или другого героя.

Выписываем небольшой отрывок из начала этой повести:

«Тогда, однажды зимой, в ясный и морозный вечер, впрочем, часу уже в двенадцатом, три *чрезвычайно-почтенные мужа* сидели в комфортной и даже роскошно убранной комнате в одном *прекрасном* двухэтажном доме на Петербургской стороне и занимались *солидным* и *превосходным* разговором на *весьма любопытную* тему. Эти три мужа были все трое в ге-

---

ния («sic!» и т. п.). Существенное значение для преодоления инертности прямой речи имеет помещение в соответствующих местах вводящего ее глагола в соединении с комментирующими и реплицирующими замечаниями.

неральских чинах. Сидели они вокруг маленького столика, каждый в *прекрасном* мягком кресле, и между разговором тихо и *комфортно* потягивали шампанское»[1].

Если мы отвлечемся от интересной и сложной игры интонаций, то этот отрывок придется определить как стилистически в высшей степени скверный и пошлый. В самом деле, в восьми печатных строках описания два раза встречается эпитет «прекрасный», два раза «комфортный», а прочие эпитеты—«роскошный», «солидный», «превосходный», «чрезвычайно почтенный»!

Самый суровый приговор такому стилю неизбежен, если мы примем это описание всерьез от автора (как у Тургенева или Толстого) или хотя бы и от рассказчика, но одного рассказчика (как в Ich-Erzählung). Однако так принимать этот отрывок нельзя. Каждый из этих пошлых, бледных, ничего не говорящих эпитетов является ареной встречи и борьбы двух интонаций, двух точек зрения, двух речей!

Но вот еще несколько отрывков из характеристики хозяина дома — тайного советника Никифорова.

«Два слова о нем: начал он свою карьеру мелким чиновником, спокойно тянул канитель лет сорок пять сряду ... особенно не любил неряшества и восторженности, считал ее неряшеством нравственным и под конец жизни совершенно погрузился в какой-то *сладкий, ленивый комфорт* и систематическое одиночество... Наружности он был *чрезвычайно приличной и выбритой*, казался моложе своих лет, хорошо сохранился, обещал прожить еще долго и держался *самого высокого джентльменства.* Место у него было довольно комфортное: он где-то заседал и что-то подписывал. *Одним словом, его считали превосходнейшим человеком.* Была у него одна только страсть, или лучше сказать, одно горячее желание: это иметь свой *собственный* дом, выстроенный на *барскую*, а не на капитальную ногу. Желание его, наконец, осуществилось».

Теперь нам ясно, откуда взялись пошлые и однообразные, но столь *выдержанные* в своей пошлости и однообразии, эпитеты предыдущего отрывка. Они родились из генеральского сознания, смакующего свой комфорт, свой собственный домик, свое положение, свой чин, из сознания пробившегося в люди тайного советника Никифорова. Их можно было бы взять в кавычки, как «чужую речь», речь Никифорова. Но они принадлежат не только ему. Ведь повествование ведет рассказчик, который как бы солидарен с «генералами», лебезит

---

[1] Курсив наш.

перед ними, держится во всем их мнения, говорит их языком,— но при этом провокаторски все это утрирует, выдавая с головой все их возможные и действительные высказывания авторской иронии и издевательству. В каждом пошлом эпитете рассказа автор через medium рассказчика иронизирует и издевается над своим героем. Этим и создается сложная, почти непередаваемая при чтении вслух игра интонаций в нашем отрывке.

Дальнейший рассказ весь построен в кругозоре другого главного героя — Пралинского. И весь он усеян эпитетами, оценками этого героя, то есть его скрытою речью, и на этом фоне, пропитанном авторской иронией, подымается его действительная, заключенная в кавычки, внутренняя и внешняя «прямая речь».

Таким образом, почти каждое слово этого рассказа с точки зрения своей экспрессии, своего эмоционального тона, своего акцентного положения в фразе *входит одновременно в два пересекающиеся контекста*, в *две речи*: в речь автора-рассказчика (ироническую, издевательскую) и в речь героя (которому не до иронии). Этою одновременною причастностью двум речам, по своей экспрессии различно-направленным, объясняется и своеобразие построения фраз, «изломы синтаксиса» и своеобразие стиля. В пределах только одной из этих двух речей и фраза была бы построена иначе, и стиль был бы иным. Перед нами классический случай почти совершенно не изученного лингвистического явления — *речевой интерференции.*

Это явление речевой интерференции в русском языке может частично иметь место в словесно-аналитической модификации косвенной речи, в тех сравнительно редких случаях ее, где в пределах косвенной передачи сохраняются не только отдельные слова и выражения, но и экспрессивная конструкция чужого высказывания. Так было в нашем четвертом примере, где в косвенную речь перешла — правда, ослабленная — восклицательная конструкция прямого высказывания. В результате получился некоторый разнобой спокойной протокольно-повествовательной интонации авторской аналитической передачи с возбужденной истерической интонацией полубезумной героини. Отсюда и некоторая своеобразная искривленность синтаксической физиономии этой фразы, служащей двум господам, причастной одновременно двум речам. Но на почве косвенной речи явление речевой интерференции не может получить сколько-нибудь отчетливого и устойчивого синтаксического выражения.

Наиболее важным и синтаксически шаблонизированным (во всяком случае во французском языке) случаем интерферирующего слияния двух интонационно разнонаправленных речей является *несобственная прямая речь.* Ввиду ее исключительной важности мы посвящаем ей всю следующую главу. Там мы рассмотрим и историю вопроса в романо-германистике. Ведшийся вокруг несобственной прямой речи спор, высказанные по вопросу мнения (в собенности из школы Фослера) представляют большой методологический интерес и потому будут подвергнуты нами критическому анализу. Здесь же, в пределах настоящей главы, мы рассмотрим еще некоторые явления, родственные несобственной прямой речи и в русском языке, по-видимому, послужившие почвой для ее рождения и формирования.

Мы интересовались лишь двусмысленными, двуликими модификациями прямой речи в ее живописной трактовке и потому совершенно не касались одной из важнейших *«линейных»* ее модификаций — *риторической прямой речи.*

Социологическое значение этой «убеждающей» модификации и различных ее варьяций очень велико. Но останавливаться на них мы не можем. Мы остановимся лишь на некоторых, сопутствующих риторике явлениях.

Существует общеизвестное явление: *риторический вопрос и риторическое восклицание.* Для нашей точки зрения интересны некоторые относящиеся сюда случаи по своей локализации в контексте. Они помещаются как бы на самой границе авторской и чужой речи (обычно внутренней), а часто прямо входят в ту или другую речь, т. е. их можно истолковать и как вопрос или восклицание самого героя, обращенное им к себе самому.

Вот пример вопроса:

«Но кто в сиянии луны, среди глубокой тишины, идет, украдкою ступая? Очнулся русский. Перед ним, с приветом нежным и немым стоит черкешенка младая. На деву молча смотрит он и мыслит: это лживый сон, усталых чувств игра пустая»... (Пушкин. «Кавказский Пленник».)

Заключительные (внутренние) слова героя как бы отвечают на риторический вопрос автора, и этот последний может быть истолкован как внутренне-речевой вопрос самого героя.

Пример восклицания:

«Все, все сказал ужасный звук; затмилась перед ним природа. Прости, священная свобода! Он раб!» (ibid.).

В прозе очень распространен случай, когда вопрос, вроде: «что было делать?» вводит размышления героя или рассказ о его действиях, причем этот вопрос является одинаково и во-

просом автора и вопросом героя, попавшего в затруднительное положение.

Однако в этих и подобных им вопросах и восклицаниях, несомненно, преобладает авторская активность, поэтому они никогда не берутся в кавычки. Здесь выступает сам автор, но выступает от лица героя, как бы ведет за него слово.

Вот интересный пример этого рода:

«Склонясь на копья, казаки глядят на темный бег реки, и мимо их, во мгле чернея, плывет оружие злодея... О чем ты думаешь, казак? Воспоминаешь прежни битвы... ...Простите, вольные станицы, и дом отцов, и тихий Дон, война и красные девицы! К брегам причалил тайный враг, стрела выходит из колчана — взвилась — и падает казак с окровавленного кургана» (ibid.).

Здесь автор представительствует герою, говорит за него то, *что* он мог бы или должен был бы сказать, *что* приличествует данному положению. Пушкин за казака прощается с его родиной (чего сам казак, естественно, сделать не может).

Это говорение за другого уже очень близко к несобственной прямой речи. Мы назовем этот случай *замещенной прямой речью*. Конечно, такое замещение предполагает *одинаковую направленность интонаций* как авторской, так и замещаемой (возможной, должной) речи героя, поэтому никакой интерференции здесь не происходит.

Когда между автором и героем в пределах риторически построенного контекста существует полная солидарность в оценках и в интонациях, то риторика автора и риторика героя иногда начинают покрывать друг друга, голоса их сливаются, и образуются длинные периоды, которые одновременно принадлежат и авторскому рассказу и внутренней (иногда, впрочем, и внешней) речи героя. Получается явление, уже почти не отличимое от несобственной прямой речи; не хватает лишь интерференции. На почве байроновской риторики молодого Пушкина и сложилась (по-видимому, впервые) несобственная прямая речь. В «Кавказском пленнике» автор совершенно солидарен со своим героем в оценках и интонациях. Рассказ построен в тонах героя, речи героя — в тонах автора. И вот мы находим здесь следующий случай:

«Там холмов тянутся грядой однообразные вершины; меж них уединенный путь в дали теряется угрюмой... И пленника младого грудь *тяжелой волновалась думой*... В Россию дальний путь ведет, в страну, где пламенную младость он гордо начал без забот; где первую познал он радость, где много милого любил, где обнял грозное страданье, где бурной жизнью

погубил надежду, радость и желанье... Людей и свет изведал он ,и знал неверной жизни цену. В сердцах людей нашед измену, в мечтах любви безумный сон... Свобода!.. *Он одной тебя* еще искал в подлунном мире... Свершилось... Целью упованья не зрит он в мире ничего. И *вы*, последние мечтанья, и *вы* сокрылись от него. Он раб» (ibid.) [1].

Здесь явно передана «тяжелая дума» самого пленника. Это — его речь, но формально произнесенная автором. Если мы переменим всюду личное местоимение «он» на «я» и соответственно изменим глагольные формы, то никаких нелепостей и неувязок стилистических и иных не произойдет. Характерно, что в эту речь введены обращения во втором лице (к свободе и к мечтаньям), что еще более подчеркивает идентификацию автора с героем. Стилистически и по смыслу эта речь героя ничем не отличается от его риторической прямой речи, произнесенной им во второй части поэмы:

«Забудь меня: твоей любви, твоих восторгов я не стою. ...Без упоенья, без желаний, я вяну жертвою страстей...

...Зачем не прежде явилась ты моим очам, в те дни, как верил я надежде и упоительным мечтам! Но поздно! умер я для счастья, надежды призрак улетел...» (ibid.).

Все авторы, писавшие о несобственной прямой речи (может быть, за исключением одного только Bally), признали бы в нашем примере безукоризненный образец ее.

Мы, однако, склонны считать данный случай замещенной речью. Правда, нужен один только шаг, чтобы превратить ее в несобственную прямую. И Пушкин сделал этот шаг, когда он отделился от своих героев, противопоставил им более объективный авторский контекст со своими оценками и интонациями. Здесь же, в приведенном нами примере, еще не хватает интерференций авторской и чужой речи, а следовательно, не хватает и порождаемых ею грамматических или стилистических признаков, характеризующих несобственную прямую речь в отличие от окружающего авторского контекста. Ведь в данном случае мы узнаем речь «пленника» лишь по чисто смысловым указаниям. Мы не чувствуем здесь слияния двух *различно* направленных речей, не чувствуем *упругости, сопротивления* чужой речи за авторской передачей.

Чтобы показать, наконец, что такое действительно несобственная прямая речь, приведем великолепный образец ее из пушкинской «Полтавы». Им мы и закончим эту главу.

---

[1] Курсив наш.

«Но предприимчивую злобу он (Кочубей) крепко в сердце затаил. В бессильной горести, ко гробу теперь он мысли устремил. Он зла Мазепе не желает — всему виновна дочь одна. Но он и дочери прощает: пусть богу даст ответ она, покрыв семью свою позором, забыв и небо, и закон... А между тем орлиным взором в кругу домашнем ищет он себе товарищей отважных, неколебимых, непродажных...».

Глава IV

НЕСОБСТВЕННАЯ ПРЯМАЯ РЕЧЬ ВО ФРАНЦУЗСКОМ, НЕМЕЦКОМ И РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Несобственная прямая речь во французском языке. Концепция Tobler'a. Концепция Th. Kalepky. Концепция Bally. Критика гипостазирующего абстрактного объективизма Bally. Bally и фослерианцы. Несобственная прямая речь в немецком языке. Концепция Eugen'a Lerch'a. Концепция Lorck'a. Учение Lorck'a о роли фантазии в языке. Концепция Gertraud Lerch. Чужая речь в старофранцузском языке. Чужая речь в среднефранцузском языке в эпоху Возрождения. Несобственная прямая речь у Lafontain'a и La-Bruyère'a. Несобственная прямая речь у Флобера. Появление несобственной прямой речи в немецком языке. Критика гипостазирующего субъективизма фослерианцев.

Для явления несобственной прямой речи во французском и немецком языках различными авторами были предложены различные терминологические обозначения. Собственно каждый из писавших по данному вопросу предложил свой термин. Мы пользуемся все время термином Gertraud Lerch «uneigentlich direckte Rede» как наиболее нейтральным из всех предложенных, как инвольвирующим minimum теории. В применении к русскому и немецкому языкам этот термин безукоризнен. Только по отношению к французскому он еще может вызвать некоторые сомнения.

Вот несколько примеров несобственной прямой речи во французском языке:

Il protesta: **«son père la haïssait!»**.

В «прямой речи» было бы:

Il protesta et s'écria: **«Mon père te haït!»**

В косвенной:

Il protesta et s'écria **que son père la haïssait.**

В несобственной косвенной:

Il protesta: «son père, s'écria-t-il, la haïssait!»

(Этот пример из Бальзака заимствован у G. Lerch).

2) Tout le jour, il avait l'oeil au guet, et la nuit, si quelque chat faisait du bruit, **le chat prenait l'argent** (Lafontaine).

3) En vain il (le colonel) parla de la sauvagerie du pays et de la difficulté pour une femme d'y voyager: elle (miss Lydia) **ne craignait rien; elle aimait par-dessus tout à voyager à cheval; elle se faisait une fête de coucher au bivac; elle menaçait**

d'aller en Asie-Mineure. Bref, elle avait réponse à tout, car **jamais Anglaise n'avait été en Corse; donc elle devait y aller** (P. Mérimées, «Colomba»).

4) Resté seul dans l'embrasure de la fenêtre, le cardinal s'y tint immobile, un instant encore... Et ses bras frémissant se tendirent, en un geste d'imploration: **«O Dieu! puisque ce médecin s'en allait ainsi, heureux de sauver l'embarras de son impuissance, ô Dieu! que ne faisiez-vous un miracle pour montrer l'éclat de votre pouvoir sans bornes! Un miracle, un miracle!** Il le demandait du fond de son âme de croyant (Zola, «Rome»).

(Оба последние примера приводятся и дискутируются Kalepky, Bally и Lorck'ом).

Явление несобственной прямой речи как особой формы передачи чужого высказывания рядом с прямой и косвенной речью было впервые указано Tobler'ом в 1887 г. (в «Zeitshr. f. roman. Philol.», XI, S. 437).

Он определил это явление как «своеобразное смешение прямой и косвенной речи» («Eigentümliche Mischung direkter und indirekter Rede»). Из прямой речи эта смешанная форма заимствует, по Tobler'у, *тон* и *порядок слов*, а из косвенной — *времена* и *лица* глаголов.

Как чисто описательное, это определение может быть принято. Действительно, с точки зрения поверхностного сравнительного описания признаков, соответствующие различия и сходства данной формы с прямою и косвенною речью Tobler'ом указаны правильно.

Но слово «смешение» в данном определении совершенно неприемлемо, так как включает генетическое объяснение — «образовалось из смешения», что едва ли может быть доказано. Да и чисто описательно оно неверно, ибо перед нами не простое механическое смешение или арифметическое сложение двух форм, но совершенно *новая*, положительная тенденция активного восприятия чужого высказывания, *особое направление* динамики взаимоотношения авторской и чужой речи. Но этой динамики Tobler не слышит, констатируя лишь абстрактные признаки шаблонов.

Таково определение Tobler'а. Но как он объясняет возникновение нашей формы?

— Говорящий, как сообщающий о прошедших событиях, приводит высказывание другого в самостоятельной форме, так, как оно звучало в прошлом. При этом говорящий изменяет Präsens действительного высказывания на Imperfectum для того, чтобы показать, что высказывание одновременно с передаваемыми прошлыми событиями. Затем он производит

другие изменения (личных форм глагола, местоимений) для того, чтобы не подумали, что высказывание принадлежит самому рассказчику.

Это объяснение Tobler'а построено на неверной, но очень распространенной в старой лингвистике схеме: как рассуждал и мотивировал бы говорящий, если бы он сознательно и за свой страх и риск вводил данную новую форму.

Но даже и допустив приемлемость такой схемы объяснения, все же мотивы Tobler'овского «говорящего» представляются не совсем убедительными и ясными: если он хочет сохранить самостоятельность высказывания, как оно действительно звучало в прошлом, то не лучше ли было бы ему передать чужое высказывание в форме прямой речи, — и его отнесенность к прошлому, и его принадлежность герою, а не рассказчику были бы вне всякого сомнения. Или, если уже ставить Imperfectum и третье лицо, то не проще ли употребить просто форму косвенной речи? Ведь *основное в нашей форме — достигаемое ею совершенно новое взаимоотношение между авторской и чужой речью* — как раз и не находит своего выражения в Tobler'овских мотивах. Перед ним просто две старых формы, из которых он хочет склеить новую.

По нашему мнению, из мотивов говорящего по приведенной схеме можно, в лучшем случае, объяснить лишь употребление в том или ином конкретном случае *уже готовой* формы, но ни в каком случае так нельзя объяснить образование *новой* формы в языке. Индивидуальные мотивы и намерения говорящего могут осмысленно развернуться лишь в пределах наличных грамматических возможностей, с одной стороны, и тех условий социально-речевого общения, какие господствуют в данной группе, — с другой стороны. Эти возможности и эти условия *даны*, и они очерчивают языковой кругозор говорящего. Разомкнуть этот кругозор — не в его индивидуальных силах.

Какими бы намерениями говорящий ни задавался, какие бы ошибки он ни делал, как бы он ни анализировал, ни смешивал форм, ни комбинировал их, он не создаст ни нового грамматического шаблона в языке, ни новой тенденции социально-речевого общения. Лишь то в субъективных намерениях говорящего будет иметь творческий характер, что лежит на пути слагающихся, становящихся тенденций социально-речевого взаимодействия говорящих, а эти тенденции меняются в зависимости от социально-экономических факторов. Должна была произойти какая-то перемена, какой-то сдвиг внутри социально-речевого общения и взаимоориентации высказыва-

ний, чтобы сложилось то существенно новое ощущение чужого слова, которое нашло выражение в несобственной прямой речи. Слагаясь, эта форма начинает входить и в тот круг языковых возможностей, в пределах которого только и могут определяться, мотивироваться и продуктивно осуществляться индивидуальные речевые намерения говорящих.

Следующим автором, писавшим о несобственной прямой речи, был Th. Kalepky («Zeitschrift f. roman. Philol.», XIII, 1899, S. 491—513). Он признал несобственную прямую речь совершенно самостоятельной третьей формой передачи чужого высказывания и определил ее как *скрытую* или *завуалированную* речь (verschleierte Rede). В необходимости отгадывать, кто говорит, заключается стилистический смысл этой формы. В самом деле: с абстрактно-грамматической точки зрения — говорит автор, с точки зрения действительного смысла всего контекста — говорит герой.

В анализе Kalepky бесспорно заключается шаг вперед в рассмотрении нашего вопроса. Вместо механического сложения абстрактных признаков двух шаблонов, он пытается нащупать *новое положительное* стилистическое направление нашей формы. Kalepky верно понял и *двуликость* несобственной прямой речи. Однако, эта двуликость определена им неправильно. Никак нельзя согласиться с Kalepky, что перед нами — замаскированная речь и что в угадывании говорящего и заключается смысл приема. Ведь никто не начинает процесса понимания с абстрактно-грамматических рассуждений, а потому каждому с самого начала ясно, что *по смыслу* говорит герой. Трудности возникают лишь для грамматика. Кроме того, в нашей форме вовсе нет дилеммы «или — или», но specificum ее именно в том, что здесь говорит *и* герой, *и* автор сразу, что здесь в пределах одной языковой конструкции сохраняются акценты двух разнонаправленных голосов. Мы видели, что и явление подлинной скрытой чужой речи имеет место в языке. Мы видели, как подспудное действие этой запрятанной в авторском контексте чужой речи вызвало своеобразные грамматические и стилистические явления в этом контексте. Но это — иная модификация «чужой речи». Несобственная же прямая речь — речь *явная*, хотя и двуликая как Янус.

Главный методологический недостаток Kalepky в том, что он истолковывает наше языковое явление в пределах *индивидуального сознания*, ищет его психических корней и субъективно-эстетических эффектов. К принципиальной критике этого подхода мы еще вернемся при рассмотрении воззрений фосслерианцев (Lorck, E. Lerch и G. Lerch).

В 1912 году по нашему вопросу высказался Bally (G. R. M., IV, S. 549 ff., 597 ff.). И в 1914 году он снова, отвечая на полемику Kalepky, вернулся к нему в принципиальной статье, озаглавленной «Figures de pensée et formes linguistiques» (G. R. M., IV, 1914. S. 405 ff., 456 ff.).

Сущность воззрения Bally сводится к следующему: он считает несобственную прямую речь новой, поздней разновидностью классической формы косвенной речи. Образовалась она, по его мнению, следующим образом: il disait, qu'il était malade > il disait: il était malade > il était malade (disait-il) [1]. Выпадение союза que объясняется, по Bally, новейшей тенденцией, свойственной языку, предпочитать паратаксические сочетания предложений гипотаксическим. Далее Bally указывает, что эта разновидность косвенной речи, которую он и называет соответственно style indirect libre, не является застывшею формой, а находится в движении, стремясь к прямой речи как к своему пределу. В наиболее выразительных случаях, по Bally, трудно бывает определить, где кончается «style indirect libre» и начинается «style direct». Таким случаем он считает, между прочим, приведенный нами в примере четвертом отрывок из Zola. Именно в обращении кардинала к богу: «ô Dieu! que ne faisiez vous un miracle» — одновременно с признаком косвенной речи (Imperfectum) поставлено в обращении второе лицо, как в прямой речи. Формой аналогичною style indirect libre в немецком языке Bally считает косвенную речь второго типа (с пропуском союза и с порядком слов в прямой речи).

Bally строго различает *лингвистические формы* («formes linguistiques») и *фигуры мышления* («figures de pensée»). Под последними он понимает те способы выражения, которые, с точки зрения языка, не логичны, в которых нарушается нормальное взаимоотношение между лингвистическим знаком и его обычным значением. Фигуры мышления нельзя признать лингвистическими явлениями в строгом смысле этого слова: ведь нет точных и устойчивых лингвистических признаков, которые бы их выражали. Наоборот, соответственные лингвистические признаки значат в языке именно не то, что влагается в них фигурами мышления. К этим фигурам мышления относит Bally и несобственную прямую речь в ее чистых формах. Ведь с точки зрения строго грамматической — это речь автора, а по смыслу — речь героя. Но это «по смыслу» не представлено никаким особым лингвистическим знаком. Перед нами, следовательно, явление вне-лингвистическое.

[1] Средняя переходная форма является, конечно, лингвистическою фикцией.

Такова в основных чертах концепция Bally. Этот лингвист является в настоящее время самым крупным представителем лингвистического абстрактного объективизма. Bally гипостазирует и наделяет жизнью формы языка, полученные путем абстракции от конкретных речевых выступлений (жизненно-практических, литературных, научных и пр.). Эта абстракция лингвистов совершается, как мы уже показали, в целях расшифровывания чужого мертвого языка и в целях практического научения ему. И вот Bally наделяет жизнью и приводит в движение эти языковые абстракции: модификация косвенной речи начинает стремиться к шаблону прямой речи, на пути этого стремления образуется несобственная прямая речь. Выпадению союза «que» и вводящего речь глагола приписывается творческая роль в образовании новой формы. На самом деле, в абстрактной системе языка, где даны formes linguistiques Bally, нет движения, нет жизни, нет свершения. Жизнь начинается лишь там, где сходится высказывание с высказыванием, т. е. там, где начинается речевое взаимодействие, хотя бы и не непосредственное, «лицом к лицу», а опосредствованное, литературное[1].

Не абстрактная форма стремится к форме, а меняется взаимоориентация двух высказываний на основе изменившегося активного восприятия языковым сознанием «говорящей личности», ее смысловой идеологической самостоятельности, ее речевой индивидуальности. Выпадение союза «que» сближает не две абстрактных формы, а два высказывания во всей их смысловой полноте: как бы прорывается плотина, и авторские интонации свободно устремляются в чужую речь.

Результатом того же гипостазирующего объективизма является и методологический разрыв между лингвистическими формами и фигурами мышления, между «langue» и «parole». Собственно, лингвистические формы, как их понимает Bally, существуют лишь в грамматиках и словарях (где их существование, конечно, совершенно правомерно), но в живой реальности языка они глубоко погружены в иррациональную, с точки зрения абстрактно-грамматической, стихию «figures de pensée».

Не прав Bally и тогда, когда он указывает в качестве аналогии французской несобственной прямой речи на немецкую косвенную конструкцию второго типа[2]. Эта ошибка его чрез-

[1] О непосредственных и опосредствованных формах речевого взаимодействия см. вышеуказанную статью Л. П. Якубинского.

[2] На эту ошибку Bally указал Kalepky. В своей второй работе Bally частично исправляет ее.

вычайно характерна. С точки зрения абстрактно-грамматической аналогия Bally безукоризненна, но с точки зрения социально-речевой тенденции это сопоставление не выдерживает критики. Ведь одна и та же социально-речевая тенденция (определяемая одними и теми же социально-экономическими условиями) в различных языках, в зависимости от их грамматических структур, может проявиться в различных внешних признаках. В том или ином языке начинает модифицироваться в определенном направлении именно тот шаблон, который оказывается наиболее гибким в данном отношении. Таким во французском языке оказался шаблон косвенной речи, в немецком и русском — прямой речи.

Теперь мы перейдем к рассмотрению точки зрения фослерианцев. Доминанту исследования эти лингвисты переносят из грамматики в стилистику и психологию, из «лингвистических форм» — в «фигуры мышления». Разногласия их с Bally, как мы уже знаем, глубоко принципиальны. Lorck в своей критике воззрений женевского лингвиста, пользуясь гумбольдтовской терминологией, противополагает его взглядам на язык как на ergon свои взгляды на него как на energeia. Точке зрения Bally в данном частном вопросе, таким образом, прямо противопоставляются основоположения индивидуалистического субъективизма. На арену в качестве факторов объяснения несобственной прямой речи выступают: аффект в языке, фантазия в языке, вчувствование, языковой вкус и т. п.

Но прежде чем переходить к анализу их воззрений, мы приведем три примера несобственной прямой речи в немецком языке:

1) Der Konsul ging, die Hände auf dem Rücken, umher und bewegte nervös die Schultern.

Er hatte keine Zeit. Er war bei Gott überhäuft. Sie sollte sich gedulden und sich gefälligst noch fünfzig mal besinnen!» (Th. Mann «Buddenbrooks»).

2) **Herrn Gosch ging es schlecht**; mit einer grossen und schönen Armbewegung wies er die Annahme zurück, er könne zu den Glücklichen gehören. **Das beschwerliche Greisenalter nahte heran, es war da, wie gesagt, seine Grube war geschaufelt. Er konnte abends kaum noch sein Glas Grog zum Munde führen, ohne die Hälfte zu verschütten, so machte der Teufel seinen Arm zittern. Da nutzte kein Fluchen... Der Wille triumphierte nicht mehr** (ibid.).

3) Nun kreutzte Doctor Mantelsack im Stehen die Beine und blätterte in seinem Notizbuch. Hanno Buddenbrook sass vornüber gebeugt und rang unter dem Tisch die Hände. **Das B,**

der Buchstabe B war an der Reihe! Gleich würde sein Name ertönen, und er würde aufstehen und nicht eine Zeile wissen, und es würde einen Scandal geben, eine laute, schreckliche Katastrophe, so guter Laune der Ordinarius auch sein mochte... Die Sekunden dehnten sich martevoll. **«Buddenbrook» ...jetzt sagte er «Buddenbrook»**... «Edgar» sagte Doctor Mantelsack... (ibid.).

Из этих примеров ясно, что несобственная прямая речь в немецком языке грамматически совершенно аналогична русской.

В том же 1914 году по вопросу о несобственной прямой речи высказался Eugen Lerch (G. R. M., VI, S. 470). Несобственную прямую речь он определяет: «речь как факт» (Rede als Tatsache). Чужая речь передается этою формою так, как если бы ее содержание было фактом, сообщаемым самим автором. Сравнивая между собою прямую, косвенную и несобственную прямую речь с точки зрения той реальности, какая присуща их содержанию, Lerch приходит к выводу, что наиболее реальна несобственная прямая речь. Ей он отдает и стилистическое предпочтение перед косвенною речью по живости и конкретности впечатления. Таково определение Lerch'a.

Подробное исследование несобственной прямой речи дал E. Lorck в 1921 г. в небольшой книге под заглавием: «Die „Erlebte Rede"». Книга посвящена Фослеру. Lorck останавливается в ней подробно и на истории нашего вопроса.

Несобственную прямую речь Lorck определяет как «пережитую речь» («Erlebte Rede») в отличие от прямой речи как «сказанной речи» («Gesprochene Rede») и косвенной — как «сообщенной» («Berichtete Rede»).

Lorck поясняет свое определение следующим образом. Допустим, Фауст произносит на сцене свой монолог: «Habe nun, ach! Philosophie, Juristerei... durchaus studiert mit heissem Bemühn»... То, что герой высказывает в первом лице, слушатель переживает в третьем: «Faust hat nun, ach! Philosophie»... И эта перестановка, совершающаяся в недрах самого воспринимающего переживания, стилистически приближает пережитую речь к рассказу.

Если теперь слушатель захочет передать другому, третьему услышанную и пережитую им речь Фауста, то он приведет ее или дословно в прямой форме: «Habe nun, ach! Philosophie»... или же в косвенной: «Faust sagt, dass er leider» или: «Er hat leider»... Если же он сам для себя пожелает вызвать в своей душе живое впечатление пережитой сцены, то он вспомнит: «Faust hat nun, ach! Philosophie»... или же, так как дело идет о прошлых впечатлениях: «Faust hatte nun, ach!»

Таким образом, несобственная прямая речь, по Lorck'у, является формой непосредственного изображения переживания чужой речи, живого впечатления от нее, поэтому она мало пригодна для передачи речи другому, третьему. Ведь при такой передаче утратится характер сообщения и покажется, будто человек говорит с самим собой или галлюцинирует. Отсюда понятно, что в разговорном языке она не употребляется и служит лишь целям художественного изображения. Здесь же ее стилистическое значение огромно.

В самом деле, для художника в процессе творчества образы его фантазий являются самою реальностью; он не только видит их, но и слышит. Он не заставляет их говорить (как в прямой речи), он слышит их говорящими. И это живое впечатление от как бы во сне услышанных голосов может быть непосредственно выражено только в форме несобственной прямой речи. Это — форма самой фантазии. Потому-то она и зазвучала впервые в сказочном мире Лафонтена, потому-то она и является излюбленным приемом таких художников, как Бальзак и особенно Флобер, способных совершенно погрузиться и забыться в созданном их фантазией мире.

И художник, употребляя эту форму, обращается тоже только к фантазии читателя. Он не стремится сообщить с ее помощью каких-либо фактов или содержания мышления, он хочет лишь непосредственно передать свои впечатления, пробудить в душе читателя живые образы и представления. Он обращается не к рассудку, но к воображению. Только с точки зрения рассуждающего и анализирующего рассудка в несобственной прямой речи говорит автор, для живой фантазии говорит герой. Фантазия — мать этой формы.

Основная идея Lorck'a, которую он развивает и в других своих работах[1], сводится к тому, что *творческая роль в языке принадлежит не рассудку, а именно фантазии.* Только уже созданные фантазией формы, готовые, застывшие и покинутые ее живой душой, поступают в распоряжение рассудка. Сам же он ничего не творит.

Язык, по Lorck'у, не готовое бытие (ergon), но вечное становление и живое событие (energeia), он — не средство и не орудие для достижения посторонних целей, но живой организм, несущий в себе самом свою цель и в себе же осуществляющий ее. И эта творческая самодостаточность языка осуществляется языковой фантазией. Фантазия чувствует себя в языке как в своем род-

[1] Passé défini, imparfait, passé indéfini. Eine grammatisch-psychologische Studie von E. Lorck.

ном жизненном элементе. Он для нее не средство, но плоть от плоти и кровь от крови. Она удовлетворяется самою игрою языка ради нее самой. Такой автор, как Bally, подходит к языку с точки зрения рассудка и поэтому не способен понять тех форм, которые еще живы в нем, в которых еще бьется пульс становления, которые еще не превратились в средство для рассудка. Поэтому Bally и не понял своеобразия несобственной прямой речи и, не найдя в ней логической однозначности, исключил ее из языка.

С точки зрения фантазии Lorck пытается понять и истолковать форму Imparfait в несобственной прямой речи. Lorck различает «Défini-Denkakte» и «Imparfait-Denkakte». Эти акты различаются не по своему мыслительному содержанию, а по самой форме своего свершения. При Défini наш взгляд направляется вовне, в мир помышленных вещей и содержаний, при Imparfait — вовнутрь — в мир становящейся и слагающейся мысли.

«Défini-Denkakten» носят фактически-констатирующий характер. «Imparfait-Denkakten» — переживающий, впечатляющий характер. В них сама фантазия воссоздает живое прошлое.

Lorck анализирует следующий пример:

L'Irlande poussa un grand cri de soulagement, mais la Chambre des lords, six jours plus tard, **repoussait** le bill: Gladstone **tombait** (Revue de d. Mondes, 1900, Mai, стр. 159).

Если, говорит Lorck, заменить оба Imparfait с помощью Défini, то мы весьма отчетливо ощутим разницу — Gladston tombait — окрашено в чувственный тон, между тем, как Gladston tomba — звучит как сухое деловое осведомление. В первом случае мысль как бы медлит над своим предметом и над собой. Но то, что здесь наполняет сознание, — это не представление о падении Гладстона, но чувство важности совершившегося события. Иначе обстоит дело с «la Chambre des lords repoussait le bill». Здесь происходит как бы тревожное предвосхищение последствий события: Imparfait в repoussait выражает напряженное ожидание. Достаточно произнести всю эту фразу вслух, чтобы уловить эти особенности в психической установке говорящего. Последний слог repoussait произносится высоким тоном, выражающим напряжение и ожидание. Свое разрешение и как бы успокоение это напряжение находит в Gladston tombait. В обоих случаях Imparfait окрашено чувством и проникнуто фантазией; оно не столько констатирует, сколько замедленно переживает и воссоздает обозначаемое действие. В этом и значение Imparfait для несобствен-

ной прямой речи. В создаваемой этой формой атмосфере фантазии Défini было бы невозможным.

Такова концепция Lorck'а; он сам называет свой анализ исследованием в области языковой души (Sprachseele). Эта область («das Gebiet der Sprachseelenforschung»), по его словам, была впервые открыта К. Vosler'ом. По стопам Vosler'а и следует Lorck в своей работе.

Lorck рассматривает вопрос в статическом, психологическом разрезе. В работе, вышедшей в 1922 году, Gertraud Lerch на фослерианской же почве пытается создать для нашей формы широкую историческую перспективу. В ее работе имеется ряд в высшей степени ценных наблюдений, поэтому остановимся на ней несколько подробней.

Ту роль, которую в концепции Lorck'а играла фантазия, в концепции Lerch играет вчувствование («Einfühlung»). Именно оно находит свое адекватное выражение в несобственной прямой речи. Формам прямой и косвенной речи предпосылается вводящий глагол (сказал, подумал и пр.). Этим ответственность за сказанное перелагается автором на героя. Благодаря тому, что в несобственной прямой речи этот глагол выпускается, автор представляет высказывания героя так, как если бы он сам их принимал всерьез, как если бы дело шло о фактах, а не о сказанном лишь и подуманном. Это возможно, говорит Lerch, только на основе вчувствования поэта в создание его собственной фантазии, на основе идентификации, отождествления себя с ними.

Как исторически слагалась эта форма? Каковы необходимые исторические предпосылки ее развития?

В старофранцузском языке психологические и грамматические конструкции еще далеко не столь строго различались, как теперь. Паратаксические и гипотаксические сочетания еще многообразно перемешивались. Пунктуация находилась еще в зачатке. Поэтому не было резких границ между прямою и косвенною речью. Старофранцузский рассказчик еще не умеет отделить образов своей фантазии от своего собственного «я». Он внутренне участвует в их поступках и словах, выступает как их ходатай и защитник. Он еще не научился передавать слова другого в их дословном внешнем виде, воздерживаясь от собственного участия и вмешательства. Его старофрануз-ский темперамент еще далек от спокойного, созерцательного наблюдения и объективного суждения. Однако это растворение рассказчика в своих героях в старофранцузском языке является не только результатом его свободного выбора, но и необходимости: отсутствовали строгие логические и синтакси-

ческие формы для отчетливого взаиморазграничения. И вот на почве этого грамматического недостатка, а не как свободный стилистический прием, и появляется впервые в старофранцузском языке несобственная прямая речь. Здесь она — результат простого грамматического неумения отделить свою точку зрения, свою позицию от позиции своих героев.

Вот любопытный отрывок из Eulaliasequenz (вторая половина IX века).

Ellent adunet lo suon element:
melz sostendreiet les empedementz
qu'elle perdesse sa virginitet.
Poros furet morte a grand honestet.

(«Она собирает свою энергию: *лучше да претерпит она мучения, чем потеряет свою девственность*. Поэтому и умерла она в высокой чести»).

Здесь, говорит Lerch, твердое непоколебимое решение святой сливается (Klingt zusammen) с горячим выступлением за нее автора.

В позднее средневековье в среднефранцузском языке это погружение себя в чужие души уже не имеет места. У историков этого времени очень редко встречается praesens historicum, а точка зрения рассказчика резко обособляется от точек зрений изображенных лиц. Чувство уступает место рассудку. Передача чужой речи становится безличной и бледной, и в ней более слышен рассказчик, нежели говорящий.

После этого обезличивающего периода наступает резкий индивидуализм эпохи Возрождения. Передача чужой речи снова стремится стать более интуитивной. Рассказчик снова старается приблизиться к своему герою, стать к нему в более интимное отношение. Для стиля характерна неустойчивая и свободная, психологически окрашенная, капризная последовательность времен и наклонений.

В XVII веке начинают складываться, в противовес языковому иррационализму эпохи Возрождения, твердые правила косвенной речи по временам и наклонениям (особенно благодаря Oudin'y — 1632 г.). Устанавливается гармоническое равновесие между объективной и субъективной стороной мышления, между предметным анализом и выражением личных настроений. Все это не без давления со стороны Академии.

Сознательно, как свободный стилистический прием, несобственная прямая речь могла появиться лишь после того как благодаря установлению consecutio temporum создался фон, на котором она могла бы отчетливо ощущаться. Впервые она появляется у Лафонтена и в этой форме сохраняется характер-

ное для эпохи неоклассицизма равновесие между субъективным и объективным.

Опущение глагола речи указывает на идентификацию рассказчика с героем, а употребление imperfectum'а (в противоположность praesens'у прямой речи) и выбор местоимения, соответствующего косвенной речи — указывает на то, что рассказчик сохраняет свою самостоятельную позицию, что он не растворяется без остатка в переживаниях своего героя.

Баснописцу Лафонтену очень подходил этот прием несобственной прямой речи, столь счастливо преодолевающей дуализм абстрактного анализа и непосредственного впечатления, приводя их к гармоничному созвучию. Косвенная речь слишком аналитична и мертвенна. Прямая же речь, хотя она и воссоздает драматически чужое высказывание, не способна одновременно же создать и сцену для него, душевное эмоциональное milieu для его восприятия.

Если для Лафонтена этот прием служил симпатическому вчувствованию, то L a - B r u y è r e извлекает из него острые сатирические эффекты. Он изображает свои фигуры не в сказочной стране и не с мягким юмором, — в несобственную прямую речь он облекает свое внутреннее противоборство им, свое преодоление их. Он отталкивается от тех существ, которые изображает. Все образы La-Bruyèr'а выступают иронически преломленными сквозь medium его обманчивой объективности.

Еще более сложный характер обнаруживает этот прием у Ф л о б е р а. Флобер неотвратимо устремляет свой взгляд именно на то, что ему отвратительно и ненавистно, но и здесь он способен вчувствовать себя, отождествить себя с этим ненавистным и отвратительным. Несобственная прямая речь становится у него столь же двойственной и столь же беспокойной, как и его собственная установка по отношению к себе самому и по отношению к своим созданиям: его внутренняя позиция колеблется между любованием и отвращением. Несобственная прямая речь, позволяющая одновременно и отождествиться со своими созданиями, и сохранять свою самостоятельную позицию, свою дистанцию по отношению к ним, — в высшей степени благоприятна для воплощения этой любви-ненависти к своим героям.

Таковы интересные соображения Gertraud Lerch. К ее историческому очерку развития несобственной прямой речи во французском языке прибавим заимствованные у Eugen'а Lerch'а сведения о времени появления этого приема в немецком

языке. Здесь несобственная прямая речь появилась чрезвычайно поздно: как сознательный и разработанный прием — впервые у Thomas'a Mann'a в его «Buddenbrooks» (1901 г.), по-видимому, под непосредственным влиянием Золя. Эта «эпопея рода» рассказана автором в эмоциональных тонах как бы одного из простых сочленов рода Будденброков, который вспоминает и, вспоминая, живо воспереживает всю историю этого рода. Прибавим от себя, что в своем последнем романе «Zauberberg» (1924 г.) Th. Mann дает этому приему еще более тонкое и глубокое применение.

Насколько нам известно, по разбираемому вопросу ничего существенного и нового более не имеется. Перейдем к критическому анализу воззрений Lorck'a и Lerch.

Гипостазирующему объективизму Bally в работах Lorck'a и Lerch противопоставляется последовательный и резко выраженный индивидуалистический субъективизм. В основе языковой души лежит индивидуальная субъективная критика говорящих. Язык во всех проявлениях становится выражением индивидуально-психических сил и индивидуально-смысловых интенций. Становление языка оказывается становлением мысли и души говорящих индивидов.

Этот индивидуалистический субъективизм фослерианцев в объяснении нашего конкретного явления так же неприемлем, как и абстрактный объективизм Bally. В самом деле, ведь говорящая личность, ее переживания, ее субъективные намерения, интенции, сознательные стилистические замыслы не даны вне своей материальной объективации в языке. Ведь вне своего языкового обнаружения, хотя бы во внутренней речи, личность на дана ни себе самой, ни другим; она может осветить и осознать в своей душе лишь то, для чего имеется объективный освещающий материал, материализованный свет сознания в виде сложившихся слов, оценок, акцентов. Внутренняя субъективная личность с ее собственным самосознанием дана не как материальный факт, могущий служить опорой для каузального объяснения, но как идеологема. Внутренняя личность, со всеми ее субъективными интенциями, со всеми ее внутренними глубинами только идеологема; и идеологема смутная и зыбкая, пока она не определит себя в более устойчивых и проработанных продуктах идеологического творчества. Поэтому бессмысленно объяснять какие-либо идеологические явления и формы с помощью субъективно-психических факторов и интенций: ведь это значит объяснять более ясную и отчетливую идеологему идеологемой же, но более смутной и сумбурной. Язык освещает внутреннюю личность и ее со-

знание, создает их, дифференцирует, углубляет, а не наоборот. Личность сама становится в языке, правда, не столько в абстрактных формах его, сколько в идеологических темах языка. Личность, с точки зрения своего внутреннего субъективного содержания, есть тема языка, и эта тема развивается и варьируется в русле более устойчивых языковых конструкций. Следовательно, *не слово является выражением внутренней личности, а внутренняя личность есть выраженное или загнанное вовнутрь слово.* Слово же есть выражение социального общения, социального взаимодействия материальных личностей, производителей. И условия этого сплошь материального общения определяют и обусловливают, какое тематическое и конструктивное определение получит внутренняя личность в данную эпоху и в данной среде, как она будет осознавать себя, насколько будет богато и уверенно это самосознание, как она будет мотивировать и оценивать свои поступки. Становление индивидуального сознания будет зависеть от становления языка, конечно, в его грамматической и конкретно-идеологической структуре. Внутренняя личность становится вместе с языком, понятым всесторонне и конкретно, как одна из важнейших и глубочайших тем его. Становление же языка есть момент становления общения, неотделимый от этого общения и его материальной базы. Материальная база определяет дифференциацию общества, его социально-политический строй, иерархически расставляет и размещает взаимодействующих в нем людей; этим определяются место, время, условия, формы, способы речевого общения, а уж тем самым определяются и судьбы индивидуального высказывания в данную эпоху развития языка, степень его непроницаемости, степень дифференцированности ощущения в нем различных сторон, характер его смысловой и речевой индивидуализации. И это, прежде всего, находит свое выражение в устойчивых конструкциях языка, в шаблонах и их модификациях. Здесь говорящая личность дана не как зыбкая тема, а как более устойчивая конструкция (правда, конкретно эта конструкция неразрывно связана с определенным, ей соответствующим тематическим наполнением). Здесь, в формах передачи чужой речи, сам язык реагирует на личность как на носительницу слова.

Что же делают фосслерианцы? Своими объяснениями они дают лишь зыбкую тематизацию более устойчивого структурного отражения говорящей личности, перелагают на язык индивидуальных мотивацй, хотя и самых тонких и искренних, события социального становления, события истории. Они да-

ют идеологию идеологии. Но объективные материальные факторы этих идеологий — и форм языка, и субъективных мотивировок их употребления — остаются вне поля их исследования. Мы не утверждаем, что эта работа по идеологизации идеологии совершенно бесполезна. Наоборот, иногда бывает очень важно тематизовать формальную конструкцию, чтобы легче проникнуть к ее объективным корням, ведь эти-то корни — общие. То идеологическое оживление и обострение, которое идеалисты-фослерианцы вносят в лингвистику, помогает уяснению некоторых сторон языка, омертвевших и застывших в руках абстрактного объективизма. И мы должны быть им за это благодарны. Они раздразнили и разбередили идеологическую душу языка, напоминавшего, подчас, в руках некоторых лингвистов явление мертвой природы. Но к действительному, объективному объяснению языка они не подошли. Они приблизились к жизни истории, но не к объяснению истории; к ее вечно-взволнованной, вечно-движимой поверхности, но не к глубинным движущим силам. Характерно, что Lorck в своем письме к Eugen'у Lerch'у, приложенном им к книге, доходит до следующего, несколько неожиданного утверждения. Изобразив омертвение и рассудочную закостенелость французского языка, он прибавляет: «Для него есть только одна возможность обновления: на место буржуазии должен прийти пролетариат» (Für sie gibt es nur eine Möglichkeit der Verjüungung: anstelle des Bourgeois muss Proletarier zu Worte kommen).

Как это связать с исключительною творческою ролью фантазии в языке? Неужели пролетарий такой фантаст?

Конечно, Lorck имеет в виду другое. Он, вероятно, понимает, что пролетариат принесет с собою новые формы социально-речевого общения, речевого взаимодействия говорящих и целый новый мир социальных интонаций и акцентов. Принесет с собой и новую языковую концепцию говорящей личности, самого слова, языковой истины. Вероятно, нечто подобное имел в виду Lorck, делая свое утверждение. Но в его теории это не нашло никакого выражения. Фантазировать же может буржуа не хуже пролетария. Да и досуга у него больше.

Индивидуалистический субъективизм Lorck'a в применении к нашему конкретному вопросу сказался в том, что динамика взаимоотношения авторской и чужой речи не отражается в его концепции. Несобственная прямая речь вовсе не выражает пассивного впечатления от чужого высказывания, но выражает активную ориентацию, отнюдь не сводящуюся к перемене первого лица в третье, а вносящую свои акценты в чу-

жое высказывание, которые сталкиваются и интерферируют здесь с акцентами чужого слова. Нельзя согласиться с Lorck'ом и в том, что форма несобственной прямой речи ближе к непосредственному восприятию и переживанию чужой речи. Каждая форма передачи чужой речи по-своему воспринимает чужое слово и активно его прорабатывает. Gertraud Lerch как будто улавливает динамику, но выражает ее на субъективно-психологическом языке. Оба автора, таким образом, явление трех измерений пытаются развернуть в плоскости. В объективном языковом явлении несобственной прямой речи совмещается не вчувствование с сохранением дистанции в пределах индивидуальной души, но акценты героя (вчувствование) с акцентами автора (дистанция) в пределах одной и той же языковой конструкции.

И Lorck, и Lerch, оба одинаково не учитывают одного чрезвычайно важного для понимания нашего явления момента: оценки, заложенной в каждом живом слове и выражаемой акцентуацией и экспрессивной интонацией высказывания. Смысл речи не дан вне своей живой и конкретной акцентуации и интонации. В несобственной прямой речи мы узнаем чужое слово не столько по смыслу, отвлеченно взятому, но прежде всего по акцентуации и интонированию героя, по ценностному направлению речи.

Мы воспринимаем, как эти чужие оценки перебивают авторские акценты и интонации. Этим и отличается, как мы знаем, несобственная прямая речь от замещенной речи, где никаких новых акцентов по отношению к окружающему авторскому контексту не появляется.

Вернемся к русским примерам несобственной прямой речи.

Вот чрезвычайно характерный в этом отношении образец из «Полтавы» же:

«Мазепа, в горести притворной, к царю возносит глас покорный. *«И знает бог, и видит свет: он бедный гетман двадцать лет царю служил душою верной; его щедротою безмерной осыпан, дивно вознесен... О, как слепа, безумна злоба! Ему ль теперь у двери гроба начать учение измен и потемнять благую славу? Не он ли помощь Станиславу с негодованьем отказал, стыдясь, отверг венец Украйны и договор и письма тайны к царю, по долгу отослал? Не он ли наущеньям хана и цареградского салтана был глух? Усердием горя, с врагами белого царя умом и саблей рад был спорить, трудов и жизни не жалел, и ныне злобный недруг смел его седины опозорить! И кто же? Искра, Кочубей! Так долго быв его друзьями!..»* И, с кровожадными слезами, в холодной дерзо-

сти своей их казни требует злодей... Чьей казни? Старец непреклонный! Чья дочь в объятиях его? Но хладно сердце своего он заключает ропот сонный...»

В этом отрывке синтаксис и стиль, с одной стороны, определяется ценностными тонами смирения, слезной жалобы Мазепы, с другой же стороны, это «слезное челобитие» подчинено ценностному направлению авторского контекста, его повествовательным акцентам, в данном случае окрашенным тонами возмущения, которые далее и прорываются в риторическом вопросе: «Чьей казни? Старец непреклонный! Чья дочь в объятиях его?..»

Передать при чтении этого отрывка двойную интонацию каждого слова, то есть самим чтением жалобы Мазепы возмущенно разоблачать ее лицемерие — вполне возможно. Здесь перед нами очень простой случай с риторическими, несколько примитивными и отчетливыми интонациями. В большинстве же случаев, и притом именно там, где несобственная прямая речь становится массовым явлением — в новой художественной прозе, — звуковая передача ценностной интерференции невозможна. Более того, самое развитие несобственной прямой речи связано с переходом больших прозаических жанров на немой регистр. Только это онемение прозы сделало возможным ту многопланность и непередаваемую голосом сложность интонационных структур, которые столь характерны для новой литературы.

Пример такой, не передаваемой адекватно голосом интерференции двух речей из «Идиота» Достоевского:

«А почему же он, князь, не подошел теперь к нему сам и повернулся от него, как бы ничего не заметив, хотя глаза их и встретились. (Да, глаза их встретились! и они посмотрели друг на друга.) Ведь он же сам хотел давеча взять его за руку и пойти *туда* вместе с ним? Ведь, он сам же хотел завтра идти к нему и сказать, что он был у нее? Ведь отрекся же он сам от своего демона, идя еще туда, на половине дороги, когда радость вдруг наполнила его душу? Или в самом деле было что-то такое в Рогожине, то есть в целом *сегодняшнем* образе этого человека, во всей совокупности его слов, движений, поступков, взглядов, что могло оправдывать ужасные предчувствия князя и возмущающие нашептывания его демона? Нечто такое, что видится само собой, но что трудно анализировать и рассказать, невозможно оправдать достаточными причинами, но что однако же производит, несмотря на всю эту трудность и невозможность, совершенно цельное и неотразимое впечатление, невольно переходящее в полнейшее

убеждение? Убеждение в чем? (О, как мучила князя чудовищность, «унизительность» этого убеждения, «этого низкого предчувствия», и как обвинял он себя самого!..)»

Коснемся здесь в немногих словах очень важной и интересной проблемы *звукового воплощения чужой речи, обнаруженной авторским контекстом.*

Трудность ценностного экспрессивного интонирования заключается здесь в постоянных переходах из ценностного кругозора автора в кругозор героя и обратно.

В каких случаях и в каких пределах возможно разыгрывание героя? Под абсолютным разыгрыванием мы понимаем не только перемену экспрессивной интонации — перемену, возможную и в пределах одного голоса, одного сознания, — но и перемену голоса в смысле всей совокупности индивидуализующих его черт, перемену лица (т. е. маски) в смысле совокупности всех индивидуализующих мимику и жестикуляцию черт, наконец, совершенное замыкание в себе этого голоса и этого лица на протяжении всей разыгрываемой роли. Ведь в этот замкнутый индивидуальный мир уже не смогут проникнуть и переплеснуться авторские интонации. В результате замкнутости чужого голоса и чужого лица невозможна никакая постепенность в переходе от авторского контекста к чужой речи и от него к авторскому контексту. Чужая речь начнет звучать как в драме, где нет объемлющего контекста и где репликам героя противостоят грамматически разобщенные с ним реплики другого героя. Таким образом, путем абсолютного разыгрывания между чужою речью и авторским контекстом устанавливаются отношения, аналогичные отношению одной реплики к другой в диалоге. Этим автор ставится рядом с героем, и их отношения диалогизуются. Из всего этого с необходимостью вытекает, что абсолютное разыгрывание чужой речи при чтении вслух художественной прозы допустимо лишь в редчайших случаях. Иначе — неизбежен конфликт с основными художественными заданиями контекста. Само собою разумеется, что в этих редчайших случаях речь может идти лишь о линейных и умеренно-живописных модификациях прямой конструкции. Но если прямая речь перерезана реплицирующими ремарками автора или если на нее ложатся слишком густые тени от оценивающего авторского контекста, то абсолютное разыгрывание невозможно.

Но возможно частичное разыгрывание (без перевоплощения), позволяющее делать постепенные интонационные переходы между авторским контекстом и чужой речью, а в иных случаях, при наличии двуликих модификаций, прямо совме-

щать в одном голосе все интонации. Правда, это возможно лишь в случаях, аналогичных с приведенными нами. Риторические вопросы и восклицания часто несут функции переключения из одного тона в другой.

Остается подвести итоги нашего анализа несобственной прямой речи, а вместе с тем и итоги всей третьей части нашей работы. Мы будем кратки: все существенное содержится в самом тексте, а повторений мы постараемся избегнуть.

Мы проследили важнейшие формы передачи чужой речи. Мы не давали абстрактно-грамматических описаний, мы старались найти в этих формах документ того, как сам язык в ту или иную эпоху своего развития ощущает чужое слово и говорящую личность. При этом мы все время имели в виду, что судьбы высказывания и говорящей личности в языке отражают социальные судьбы речевого взаимодействия, словесно-идеологического общения в их существеннейших тенденциях.

Слово как идеологическое явление par exellence дано в непрерывном становлении и изменении, оно чутко отражает все социальные сдвиги и перемены. В судьбах слова — судьбы говорящего общества. Но прослеживать диалектическое становление слова можно на нескольких путях. Можно изучать *становление смысла,* то есть историю идеологии в точном смысле слова, *историю познания* как историю становления истины, ибо истина вечна лишь как вечное становление истины, *историю литературы* — как становление художественной правды. Это один путь. В тесной связи, в непрерывном сотрудничестве с ним идет другой путь — изучение *становления самого языка* как *идеологической материи,* как *среды идеологического преломления бытия,* ибо отражение преломления бытия в человеческом сознании совершается только в слове и через слово. Изучать становление языка, совершенно отвлекаясь от преломляемого в нем социального бытия и от преломляющих сил социально-экономических условий, конечно, нельзя. Нельзя изучать становление слова, отвлекаясь от становления истины и художественной правды в слове и от человеческого общества, для кого эта правда и истина существуют. Эти два пути в непрерывном взаимодействии друг с другом изучают, таким образом, *отражение и преломление становления природы и истории в становлении слова.*

Но есть и еще один путь: *отражение социального становления слова в самом слове,* и два раздела этого пути: *история философии слова* и *история слова в слове.* И в этом последнем направлении и лежит наша работа. Мы отлично понимаем ее недостаточность и надеемся лишь на то, что самая по-

становка проблемы слова в слове имеет существенное значение. История истины, история художественной правды и история языка могут много выиграть от изучения преломлений их основного феномена — *конкретного высказывания* — в конструкциях самого языка.

Теперь еще несколько заключительных слов о несобственной прямой речи и о выражаемой ею социальной тенденции.

Появление и развитие несобственной прямой речи должно изучать в тесной связи с развитием других живописных же модификаций прямой и косвенной речи. Мы убедимся тогда, что она лежит на большой дороге развития современных европейских языков, что она знаменует собой какой-то существенный поворот в социальных судьбах высказывания. Победа крайних форм живописного стиля в передаче чужой речи объясняется, конечно, не психологическим факторами и не индивидуально-стилистическими заданиями художника, но *общей, глубокой субъективизацией идеологического слова*-высказывания. Оно уже не монумент и даже не документ существенной смысловой позиции, оно ощущается лишь как выражение случайного субъективного состояния. В языковом сознании настолько дифференцировались типизующие и индивизуализующие оболочки высказывания, что они совершенно заслонили, релятивировали смысловое ядро его, осуществленную в нем ответственную социальную позицию. Высказывание как бы перестало быть предметом серьезного смыслового учета. Только в научном контексте еще живет категорическое слово, слово «от себя», — *утверждающее слово*. Во всех других областях словесного творчества преобладает не «изреченное», а «сочиненное» слово. Вся речевая деятельность здесь сводится к размещению «чужих слов» и «как бы чужих слов». Даже в гуманитарных науках проявляется тенденция заменять ответственное высказывание по вопросу изображением современного состояния данного вопроса в науке с подсчетом и индуктивным выведением «преобладающей в настоящее время точки зрения», что и считается иногда наиболее солидным «решением» вопроса. Во всем этом сказывается поражающая зыбкость и неуверенность идеологического слова. Художественная, риторическая, философская и гуманитарная научная речь становится царством «мнений», заведомых мнений, и даже в этих мнениях выступает на первый план не то, *что* в них, собственно, *«мнится»*, а *«как»* оно — индивидуально или типически — мнится. Этот процесс в судьбах слова новейшей буржуазной Европы и у нас (почти до самого последнего времени) можно определить как *овеществление слова,*

как *понижение тематизма слова*. Идеологами этого процесса и у нас, и в Западной Европе являются формалистические направления поэтики, лингвистики и философии языка. Едва ли нужно оговорить здесь, какими классовыми предпосылками объясняется этот процесс и едва ли нужно повторять справедливые слова Lorck'a о том, на каких путях только и возможно обновление идеологического слова, тематического, проникнутого уверенной и категорической социальной оценкой, серьезного и ответственного в своей серьезности слова.

КОММЕНТАРИЙ

Из всех «девтероканонических» работ М. М. Бахтина книга «Марксизм и философия языка», бесспорно, — самая известная и самая влиятельная. В Советской России книга вышла впервые в том же 1929 году (январь) и в том же ленинградском издательстве «Прибой», что и первая книга «самого» Бахтина о Достоевском (июнь). В момент появления в свет обоих этих исследований М. М. Бахтин уже пережил арест (см.: Конкин С. Арест и приговор. // «Советская Мордовия», 1991, 26 марта; И. А. Савкин. Дело о Воскресении. // М. М. Бахтин и философская культура XX века. Проблемы бахтинологии. Выпуск первый. / Под ред. К. Г. Исупова. С.-Петербург, 1991. Часть 2-я, с. 106—121). Появление в следующем году второго издания «Марксизма...» (Л., 1930) и даже двух статей М. М. Бахтина о Л. Толстом (см.: Бахтин М. М. Драматические произведения Л. Толстого. — В кн. Толстой Л. Н. Полн. собр. произв., т. II. М.-Л., Госиздат, 1930, с. III—X; Бахтин М. М. «Воскресение» Л. Толстого. — Там же, т. 13. М.-Л., Госиздат, 1930, с. III—XX) уже не могло изменить хода вещей: Бахтин выпал из так называемой научной и общественной жизни на три полных десятилетия, а второе рождение «Марксизма и философии языка» (как и других, вышедших под фамилиями друзей, книг и статей ученого) пришлось на 70-е годы, причем уже не на родине Бахтина, а на Западе. Настоящее издание книги (фактически — третье в России) печатается по тексту 1929 года.

Как и в других выпусках серии «Бахтин под маской», основные исследования М. М. Бахтина маркируются следующим образом (с указанием страницы после запятой): **ФП**: Бахтин М. М. К философии поступка // Философия и социология науки и техники. М., Наука, 1986, с. 82—138. **ЭСТ:** Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.. Искусство, 1979. **ППД:** Бахтин М. Проблемы поэтики Достоевского. М., Сов. писатель, 1963. **ТФР:** Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М., Худ. литература, 1965. **ВЛЭ:** Бахтин М. М. Вопросы литературы и эстетики. М., Худ. литература, 1975. **Ф:** Волошинов В. Н. / Бахтин М. М. / Фрейдизм. Критический очерк. М.-Л., ГИЗ, 1927. **ФМЛ:** Медведев П. Н. /Бахтин М. М./ Формальный метод в литературоведении. Критическое введение в социологическую поэтику. Л., Прибой, 1928. **МФЯ:** Волошинов В. Н. / Бахтин М. М. / Марксизм и философия языка. Основные проблемы социологического метода в науке о языке. Л., Прибой, 1929.

Книга «Марксизм и философия языка» к настоящему времени доступна зарубежному читателю в переводах на английский, французский, немецкий, итальянский, испанский, японский, корейский, сербохорватский и др. иностранные языки.

* * *

Заглавие. Титульный лист. «В этой книге (...). — так начинается предисловие Романа Якобсона к французскому изданию МФЯ, — все, что следует за титульной страницей, поразительно» (см.: Mikhail Bakhtin (V. N. Volochinov). Le marxisme et la philosophie du langage. Paris, 1977, p. 2). Почему бы, однако, не признать «поразительной» и титульную страницу? Ведь тогда окажется, что то, что в книге является темой — теоретической, лингвистической темой, — в ней же самой является практикой, «поступком» темы; следовательно, «Марксизм и философия языка» есть не что иное, как перформативное высказывание о том, что такое «высказывание», опыт «металингвистики», проблематизирующий лингвистику с помощью «социологического метода», то есть посредством господствую-

щего языка времени — «чужой речи». И если в новейшей английской монографии о Бахтине в который раз уже повторяется на Западе с полной серьезностью, что МФЯ — «первое по-настоящему новое открытие в марксизме в плане теории идеологии» (см.: Michael Gardiner. The dialogics of critique: M. M. Bakhtin and the theory of ideology. London and N. Y., 1992, p. 9), то для самого автора открытия» за всеми этими словами («марксизм», «знак», «идеология») стояла такая **«внесловесная ситуация»** (о ней— в теоретическом смысле — речь пойдет в МФЯ), такой контекст... (о нем Бахтин судил беспощадно, беспощадно же оценивая и свое «не-алиби в бытии» в этом контексте). Приводим относящееся к МФЯ и другим парабахтинским работам 20-х годов место из воспоминаний С. Г. Бочарова о разговоре с Бахтиным, состоявшемся 9-го июня 1970 года в доме для престарелых в Гривно:

«На кровати у Михаила Михайловича лежала, видимо, кем-то ему принесенная книга В. Н. Волошинова «Марксизм и философия языка» (своей у него, по-моему, не было). Я обратил на нее внимание, взял в руки. Елена Александровна (жена М. М. — В. М.): «Помнишь, Мишенька, как ты диктовал ее Валентину Николаевичу на даче в Финляндии?» (Воспоминание, подтверждаемое недавно опубликованными материалами следственного дела Бахтина: по его показаниям на допросах, летом 1928 г. Волошинов жил у него на даче в Юкках; книга вышла в свет в январе 1929-го, когда Бахтин уже был под арестом.)

Я решился тогда спросить о причинах странного авторства этой книги и книги П. Н. Медведева о формальном методе; эта тема впоследствии возникала в разговорах не раз. Он ответил небольшим монологом, который был произнесен с известным пафосом (вернувшись домой, я записал разговор в тот же вечер):

— Видите ли, я считал, что могу это сделать для своих друзей, а мне это ничего не стоило, я ведь думал, что напишу еще свои книги, и без этих неприятных добавлений (тут он кивнул с гримасой на заголовок). Я ведь не знал, что все так сложится. А потом, какое все это имеет значение — авторство, имя? Все, что было создано за эти полвека на этой безблагодатной почве под этим несвободным небом, все в той или иной степени порочно». — Бочаров С. Г. Об одном разговоре и вокруг него. // «Новое литературное обозрение», № 2 (1993), с. 71.

С. 8—9. «Философский дух марксизма» здесь, как и в ФМЛ, противопоставляется реальному марксизму 20-х гг., с характерным для него заимствованием слабых сторон традиционной (собственно, «буржуазной») науки: идеализма, субъективизма, с одной стороны, и позитивистического, фактопоклоннического субстанциализма, с другой. Ср. с соответствующей критикой «марксистского» литературоведения в ФМЛ, с. 26, 94 и др.

С. 9. Что сама философия «начинает развиваться под знаком слова», то есть становится «философией языка», — это положение получает реальное подтверждение во многих важнейших явлениях философской мысли 20-х годов. Достаточно назвать в этой связи вышедший в 1923 г. первый том «Философии символических форм» неокантианца Э. Кассирера, о котором чуть дальше будет речь в МФЯ. С другой стороны, практически одновременно с ранней философией Бахтина возникает и на Западе собственно «диалогическое мышление», принципиальная особенность которого — отказ от абстрактного объективизма и поворот к «речевому мышлению». С большой ясностью выразил этот радикальный поворот не столько М. Бубер, сколько его младший современник, друг и соавтор по переводу Библии, автор «Звезды спасения» (1921) Франц Розенцвейг, а также биографически независимый от них австрийский философ Фердинанд Эбнер, книга которого характерным образом называлась «Слово и духовные

реальности» (1922). В статье Ф. Розенцвейга «Новое мышление» (1925), в частности, читаем: «На место метода автономного чистого мышления, развивавшегося всей предшествовавшей философией, приходит метод речевого мышления. «Чистое» мышление — вне времени и хочет оставаться вне времени; оно помышляет сразу и навсегда, одним скачком установить огромное множество взаимоотношений; первый шаг для него должен быть сразу и последним, начало мысли как бы совпадает с ее концом. В противоположность этому, речь рождается из неразрывной связи со временем и питается временем (...) Все это для отвлеченно мыслящего, всего лишь мыслящего мыслителя должно казаться чем-то совершенно немыслимым, тогда как для мыслителя, мыслящего в языке, речевое мышление, напряженно и незавершенно движущееся во времени, и есть мышление в подлинном смысле слова (...) С точки зрения Философии — старого мышления, — «мыслить» значит мыслить «вообще», ни для кого, то есть ни к кому не обращаясь («ни для кого» читатель, если захочет, может заменить на «всех» или на пресловутое «всеобщее»). С точки зрения Нового мышления, я мыслю, следовательно, я говорю. Говорить — это значит: говорить с кем-то и мыслить для кого-то другого, причем этот Другой всегда — определенный Другой, который, в отличие от немого Всеобщего, не только зритель, но и живой участник речевого события, способный ответить на равных». — Rosenzweig F. Der Mensch und sein Werk. Gesammelte Schriften. B. III. Dordrecht etc., 1984, S. 151—152.

С. 9—10. Идея книги—«продуктивная роль и социальная природа высказывания» — обусловливает критическое отношение Бахтина и его «кружка» и к западным («реализм феноменологов», «концептуализм неокантианцев»), и к отечественным концепциям языка, притом — в последнем случае — как к эстетизирующей метафизике гностицизма и платонизма (А. Ф. Лосев), так и к этнологически-органицистскому «научному» описанию «внутреннего бытия» языка (Г. Г. Шпет). Все эти и им подобные теории языка, по Бахтину, возникают из «современного кризиса» (ФП, 123), или самодеконструкции историцизма («исторического разума»), пытающегося освободиться от истории в новом онтологизме — «реалистическом» или «концептуальном». На этой почве сама постановка вопроса о продуктивности и социальности языка невозможна и как бы нелепа; отсюда бесчисленные аберрации в истолковании «поразительной» (Р. Якобсон) книги Бахтина «под маской»: в диапазоне от замаскированной под официальный язык аутентично христианской и православной идеи «кеносиса» или конкретно-соборно-религиозного «Слова, ставшего плотью» (см., в частности: Clark K., Holquist M., Mikhail Bakhtin, Cambridge etc., 1984, p. 225) до возможных, кажется, только для советского и постсоветского, по своей идеологической бдительности и проницательности сознания, попыток усмотреть в идее «социальности» у Бахтина-Волошинова более или менее бессознательный «сталинизм» и даже увидеть в МФЯ ни больше ни меньше как «предвосхищение» вышедшей двадцать лет спустя книги И. В. Сталина «Марксизм и вопросы языкознания» (см.: Александр Эткинд. Культура против природы: психология русского модернизма. // «Октябрь», 1993, № 7, с. 185—186).

С. 13—15. Тезис Бахтина «Всему идеологическому принадлежит знаковое значение», яляется, как и весь текст МФЯ, не чем иным, как карнавальным переворачиванием официального языка, на котором удается сказать то, чего сам этот «язык» — марксизм как мировоззрение — никогда не говорил и никогда не сможет сказать, не перестав быть тем, что составляет так называемую «душу» марксизма и «господ социалистов» (Достоевский) современной и пост-современной формации. Стратегия Бахтина — в полной демистификации и демифологизации «материализма» —

как, впрочем, и его оппонента-двойника — «идеализма». Это прежде всего выражается в продуктивном переворачивании как само собой разумеющегося понятия «идеологии»: слово это стало в Советской России 20-х годов своего рода «жаргоном подлинности». как это произошло на Западе в 60-е годы: понимание «духа» и «наук о духе», сложившееся на почве классической рациональности и идеалистического «разума», подверглось «материализации» и политизации. Нетрудно видеть, что «идеология» в понимании Бахтина-Волошинова — это менее всего «ложное сознание» (как в марксизме), еще менее — сознание-как-ложь (как в «постмарксистских» и в «постструктуралистских» экстремах). «Идеология» здесь — область конкретной культуры в ее нераздельных и неслиянных областях: эстетической («художественный образ»), религиозной («религиозный символ»), научной («научная формула»), правовой («правовая норма»). Отрицательные (демифологизирующие и деэстетизирующие) признаки идеологии-как-знака: она — **не** физические тела, **не** орудия производства и **не** предметы потребления, равные себе; когда современный западный марксист (M. Gardiner, op. cit., p. 7). сопоставляя Бахтина с А. Грамши и с Л. Альтуссером, пишет, что Бахтин «понимает идеологию не как эпифеномены и не как искаженную репрезентацию «реального», а как «материальную силу в своем собственном праве»; или когда известный советский философ-марксист, полемизируя с западной герменевтикой, делает акцент на самопроизвольно-иррациональной мудрости «труда» и «работы руки» (см.: Э. В. Ильенков. Искусство и коммунистический идеал. М., «Искусство», 1984, с. 77—105). мы имеем дело, по Бахтину, со своеобразными превращениями средневекового «реализма», то есть с некритической онтологизацией и «метафизикой» знака, а не с самим знаком.

Основная позитивная характеристика «идеологического знака», как у раннего, так и более позднего Бахтина, — «надбытийная событийность» его (см., например: ЭСТ, 118 и след.): идеология-как-знак — не только «тень действительности», но причастна действительности в том смысле, что она «отражает и преломляет» еще и «другую действительность», сама будучи «отражением отражения» (ЭСТ, 292). В наиболее чистой «бахтинской» форме идея «идеологического знака» уясняется в контексте основного философского текста Бахтина «К философии поступка» (1921). Ни неокантианский «концептуализм» («теоретизм»). ни «одержание бытием» у ницшеанцев и марксистов не овладевает существом «события» бытия: в первом случае «чистый» смысл изолируется от бытия (знак как «тень действительности»), во втором «бытие» претендует на самодостаточность. Также и оппозиция «означаемого» и «означающего» в семиотике остается в плоскости бинарной оппозиции «субъект»/«объект».

С. 16. («Знак — явление внешнего мира»). Перед нами перевод на язык «внешнего мира» основополагающей идеи творчества Бахтина — идеи «причастности» — «автономной причастности — или причастной автономии» (ВЛЭ, 25) всякого значимого («идеологического») явления, будь то индивидуальная личность или та или иная область человеческой культуры и «поступка».

С. 21—22. «Жизненная идеология» — характеристика не-официального и не-специального языка-сознания и культуры. Она-то, по мысли Бахтина, расположена на границах внешне изолированных, специализированных, институализированных областей культурного творчества. Поэтому слово может быть «знаком внутреннего употребления» — внутренней речью, не теряя, однако, при этом обращенности-овнешненности, т. е. — на языке МФЯ — воплощаясь в «телесно-выраженном материале».

С. 24—31. Спор с марксизмом (историческим материализмом) в МФЯ, как и спор с формализмом в ФМЛ, ведется на его собственной почве в

в плане «расчистки исследовательского поля» (ФМЛ, 53): Бахтин расслаивает, расщепляет, разэстетизирует мифологему «общественного бытия», обнаруживая в ней, во-первых, отсутствие бытия, во-вторых, отсутствие общества, в-третьих, отсутствие истории; отсюда тенденция всей книги — «на стыках и пересечениях» (ЭСТ,281) уловить «подлинный переход бытия в знак», преодолевающую инертную каузальность и механистическую бинарность «базиса» и «надстройки».

Исходя из этой задачи, Бахтин вводит уже свои, «бахтинские» темы («слово», «жанр»), термины («высказывание», «речевое выступление», «речевые жанры», «словесное взаимодействие») и даже устойчивые, переходящие из книги в книгу и из десятилетия в десятилетия ссылки на продуктивных оппонентов, с которыми он отчасти согласен (на Лео Шпицера, например; ср.: ППД, 260).

Пафос диалога с марксизмом на языке марксизма — в том, что «общественное бытие» и «общественная психология» **реальны** не в качестве квазитеоретических абстракций, а в качестве конкретной — «жизненной» и «житейской» — идеологии, причем не хаотической, а определенным образом организованной. Не случайно Майкл Холквист называет «диалогизм» Бахтина «философской оптикой», т. е. теорией зрячего мышления. См.: Holquist M. Dialogism: Bakhtin and His World. London and New York, 1990, p. 20. При этом следует иметь в виду, что такие категории «жизненного мира» (термин позднего Э. Гуссерля), как «кругозор», «окружение», в девтероканонических текстах — «идеологическая среда» и т. п. связаны не с марксистской, но с совсем иной — и притом социальной — традицией. Мы имеем в виду проект «социальной онтологии» (термин М. Тениссена), намеченный в основополагающих работах основателя феноменологии Э. Гуссерля (1859—1938), — идею теории «трансцендентальной субъективности» и проблему «Другого», — «проект», в смысловой орбите которого оказывается, с одной стороны, экзистенциалистская парадигма (М. Хайдеггер, Ж.-П. Сартр, Л. Бинсвангер и др.), с другой — парадигма «диалогизма» (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, ранний К. Левит и др.). Здесь — реальная аутентичная «идеологическая среда сознания», в контексте которой Бахтин-мыслитель, по-видимому, впервые может вообще быть увиден, понят и оценен. См.: Michael Theunissen, Der Andere: Studien zur Sozialontologie der Gegenwart. Berlin, 1965. Бахтин сам засвидетельствовал (в недавно опубликованном письме В. В. Кожинову от 2-го июля 1962 г.) «определяющее влияние» Гуссерля. См.: Из писем М. М. Бахтина. / Публикация В. В. Федорова. // «Москва», 1992, ноябрь-декабрь, с. 180. Действительно, можно заметить, что такие понятия Бахтина, как «социальный кругозор» (соответствующий термин Гуссерля: «горизонт») или «идеологическая среда сознания» (у Гуссерля — «Umwelt», «окружение», т. п.), лежат в плоскости **конкретного восприятия**, а не историцистской квазионтологии Маркса с его, по выражению самого Бахтина. «чрезвычайно схематическими выкладками». См.: Запись лекций М. М. Бахтина об Андрее Белом и Федоре Сологубе. // Studia Slavica Hung., XXIX, 1983, с. 223.

С. 28. Получается, что «классовая борьба» ведется внутри самого «класса», а с другой стороны, «господствующий класс» — что́ то же самое и наоборот — «стремится придать надклассовый вечный характер идеологическому знаку, (...) сделать его моноакцентным».

Обращает на себя внимание в этом контексте существенно бахтинский образ «двуликого Януса»—в данном случае это связано с «живой истиной» исторического материализма: с его акцентом на социокультурной «участности» сознания и познания (методически, правда, им не осознанном и не познанном), акценте, обусловившем, по словам Бахтина, «его силу, при-

чину его успеха» (ФП, 96; купюры в этом месте восстановлены, с разрешения С. Г. Бочарова, в брошюре: Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка», М., Знание, 1990, с. 41). Здесь «живая истина» обращается — вполне заслуженно — в «живую брань» по адресу «господствующего класса».

С. 30. Идея «социологической психологии», равно как и идея «социологической поэтики» в ФМЛ, «социологической стилистики» (ВЛЭ, 113) в работе Бахтина 30-х годов «Слово в романе», «социологического метода в науке о языке» в МФЯ и т. п. — переобозначение и конкретизация исходного, фундаментального понятия Бахтина, его «первой философии» (или «социальной онтологии»): «событие бытия», «правда нашего взаимоотношения», «архитектоника действительного мира» и др. Общий — скажем: «социологический» — смысл философии «события бытия» — идея «единства и взаимопроницания единственного факта-свершения-смысла-значения и нашей причастности» (ФП, 94). Отсюда поиск «объективного определения психики», не субъективистского, но и не «объектного», а скорее событийно причастного и со-участного («диалогического», по более поздней терминологии).

Задача «включить «внутренний опыт в единство объективного внешнего опыта» — сквозная задача всех исследований Бахтина. С этой задачей связана исходная категория «другости», которая в МФЯ станет «чужой речью». «Другой» и «другость» конституируют ту «среду сознания», извне и изнутри которой возникает само наше «я»; поэтому и «внутренний опыт» — сфера «я» — реально возникает и, по слову Бахтина, «оплотняется» в экстазах «другости»: «я-для-себя», «я-для-другого», «другой-для-меня» (ФП, 122).

С. 31—33. Немецкий философ Вильгельм Дильтей (1833—1911) — один из «продуктивных оппонентов» Бахтина (наряду с Г. Когеном, Э. Гуссерлем, Г. Риккертом, А. Бергсоном и др. старшими современниками). В. Дильтей провел фундаментальное разграничение «наук о природе» и «наук о духе», разграничение, как отмечал Бахтин в записях 70-х годов, хотя и релятивизированное в смысле характера науки в XX в., но сохраняющее свой основной принцип: «строгое различение понимания и научного изучения» (ЭСТ, 349). См.: Дильтей В. Введение в науки о духе (перевод В. В. Бибихина).//Зарубежная эстетика и теория литературы XIX—XX вв. / Под ред. Г. К. Косикова. М., МГУ, 1987, с. 108—135. См. также в русском переводе под редакцией Г. Г. Шпета книгу Дильтея «Описательная психология». М., «Русский книжник», 1924.

Критика Бахтиным Дильтея существенна как в плане общефилософской позиции русского мыслителя, так и в контексте философских и общегуманитарных проблем XX в. (ср. критику Дильтея в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера: Гадамер Х.-Г. Истина и метод. М., Прогресс, 1988, с. 267—292). Во-первых, Бахтин не принимает примата психологии в «понимающей психологии» Дильтея: в этом пункте Бахтин идет за Э. Гуссерлем (как и Г.-Г. Гадамер), так сказать, де-монологизируя дильтеевскую концепцию «переживания». Переживание, по Бахтину, постольку имеет **значение**, поскольку возникает, как феномен «живого опыта». на границе **я** и **другого** (а не «внутри» или в «самом» **я**); т. е. в этом смысле «переживание» не «субъективно» а смыслонаправленно. по терминологии Гуссерля, — «интенционально». Ср. разрядкой выделенное в работе «Слово в романе» (1934—1935) принципиальное утверждение Бахтина: «Изучать слово в нем самом, игнорируя его направленность вне себя, — так же бессмысленно, как изучать психическое переживание вне той реальности, на которую оно направлено и которою оно определяется» (ВЛЭ, 105). Второй момент критики, как сказано в тех же предсмертных записях 70-х гг.,

«не преодоленного до конца монологизма Дильтея» (ЭСТ, 364) связан с переводом Бахтиным **психологической** проблематики «переживания» в **эстетический** план (отсюда в МФЯ акцент на «выразительной» стороне). Существо дела выясняется в ранней работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (1921—1923). где, полемизируя с «эстетикой вчувствования», Бахтин методически разводит два типа реальности: «дух» и «душу», предлагая тем самым новый принцип размежевания и взаимодействия между философией, философской эстетикой и психологией. Ср.: «Проблема души методологически есть проблема эстетики, она не может быть проблемой психологии, науки безоценочной и каузальной, ибо душа, хотя развивается и становится во времени, есть индивидуальное, ценностное и свободное целое; не может она быть и проблемой этики, ибо этический субъект задан себе как ценность и принципиально не может быть дан, наличен. созерцаться, это я-для-себя» (ЭСТ, 89). Здесь — методологический общегуманитарный смысл эстетической деятельности как «переживания»: творческий характер его — в том, что автор (как и реципиент) активно и индивидуально переживает **другую** индивидуальность — как раз поэтому **не** переживая и **не** рефлексируя это свое переживание другого. (Отсюда — необходимость «крайне осторожно» относиться к суждениям людей искусства о своем творчестве: ЭСТ, 9). С этим связано диалогическое определение творческого сознания: «Сознание автора есть сознание сознания» (ЭСТ, 14).

С. 35. Бахтин в споре психологизма и антипсихологизма, как ясно из предшествующего, не принимает ни той, ни другой крайности: обе они для него возникают из одного и того же источника — «идеализма». Не принимает он и «онтологизации» — тенденции, проницательно подмеченной им у его же учителя Гуссерля и имевшей достаточно амбивалентные последствия у прямого ученика Гуссерля, М. Хайдеггера, а потом и в «деструктивном повторении» (по определению упоминавшегося М. Тениссена) феноменологии в «онтологии» Ж.-П. Сартра. Об актуальной и сегодня оппозиции «психологизм/антипсихологизм» см. новейшее отечественное исследование: Сорина Г. В. Логико-культурная доминанта: Очерки теории психологизма и антипсихологизма в культуре. М., Прометей. 1993 (о Бахтине: с. 169—174).

С. 36. По поводу утверждения: между внешним и внутренним знаком нет принципиального разрыва или «скачка», всякий смысл принципиально переводим и воспроизводим «на материале внутреннего знака», — автор обширного предисловия к немецкому переводу МФЯ, известный немецкий критик С. Вебер писал: «Определение знака как имеющего смысл и, следовательно, должного быть понятым, получает значение здесь, ибо когда смысл определяется как функция языка, понимание не может быть описано только семиотически, но зависит в основном от сознания субъекта. Только инстанция сознания позволяет помыслить разницу между «внешним» и «внутренним», и в то же время эта инстанция сама определяется извне чисто семиотического процесса. поскольку последний не знает разделения на внутреннее и внешнее». — Samuel M. Weber: Der Einschnitt. Zur Aktualität Volosinovs. In: Valentin N. Volosinov, Marxismus und Sprachphilosophie. Frankfurt/M. — Berlin — Wien, 1975, S. 22 (перевод И. Л. Поповой).

С. 36—39. Перед нами заостренный тезис творчества Бахтина в целом: как автор своей мысли, своего произведения, своего поступка, я не есть «собственник содержаний своего сознания». В этом пункте Бахтин (как и Достоевский) противостоит, по его же словам о Достоевском, «всей декадентской и идеалистической (индивидуалистической) культуре, культуре принципиального и безысход-

ного одиночества» (ЭСТ, 312). Именно здесь — и философский, и научный, и «ино-научный» пункт размежевания Бахтина с культуравангардом начала XX в. Ср., в частности, замечание Бахтина о различии между народно-карнавальными формами мировоззрения и изнаночно-собственническими превращенными формами этих форм у Ницше, в «философии жизни» и т. п. в черновых тетрадях 1943 года: «Момент возвращения уловлен Ницше, но абстрактно и механически интерпретирован им. (...) В философии, в особенности в натурфилософии начала века, все это все же рационализовано и оторвано от тысячелетних систем народных символов, все это дано как собственный опыт (выделено нами. — В. М.), а не как проникновенное истолкование многотысячелетнего опыта человечества, воплощенного во внеофициальных системах символов». — Бахтин М. М. Из черновых тетрадей. // «Москва», 1992, кн. 5—6, с. 158—159. Не удивительно поэтому известное одиночество Бахтина в русской культуре, вплоть до сегодняшнего дня. Ср., с одной стороны, невнимательную критику как раз этих страниц МФЯ у Н. О. Лосского (Лосский Н. О. Условия абсолютного добра. М., Политиздат, 1991, с. 206), а с другой — сегодняшние попытки «деконструкции» бахтинского диалогизма «слева», т. е. с опорой на ницшеански-марксистски-материалистические (в духе «материальной эстетики») «остранения» человеческого, «слишком человеческого» в постсоветской эссеистике-публицистике (работы Б. Гройса, И. Фридмана, М. Рыклина, Б. Парамонова, В. Бейлиса, А. Эткинда и др.).

С. 39—43. Перед нами — как бы самокарнавализованный вариант бахтинского диалогизма: «философия поступка» становится поступком философии, «умирая» и «воскресая» одновременно; результатом в МФЯ оказывается, можно сказать, социально-диалогическая («социологическая») семиология, которая лишь по недоразумению стала в 60—70-е гг. «собственностью» структуралистской семиотики, советской и зарубежной: никакого другого продуктивного «диалогизующего фона» (Бахтин) восприятия и разумения «диалогизма» тогда не оказалось. См. первый сборник статей о Бахтине, изданный в Италии: Ivanov V. V., Kristeva I. e altri. Michail Bachtin: Semiotica, Theoria della litteratura e marxismo / A cura di Augusto Ponzio. Bari. 1977. Осознание принципиального различия структурализма и диалогизма произошло в 80-е гг., причем не в России, а на Западе, и, что примечательно, в наиболее резкой форме как раз со стороны несколько «одураченных» семиотиков. См., в частности: Titunik I. Bakhtin and the Soviet Semiotics (A Case Study: Boris Uspensky's «Poetica Kompozicii». — «Russian Literature», 1981, № 10 (July). Сегодня можно сказать: бахтинская семиологическая «маска» не только обеднила, но и обогатила диалогизм, не слишком все же исказив его «лицо». Напротив, само «лицо» «семиотического тоталитаризма» (Г. С. Морсон) в ситуации полного карнавального «овнешнения» инонаучно-идеологических предпосылок структуралистской семиотики в бывшем СССР и на Западе — лицо это само оказалось маской.

Вопреки формализму старому и новому в филологии, с одной стороны, вопреки романтически-субъективистской постановке вопроса о творчестве в западной (Г. Зиммель) и в русской (Ф. Степун) философии начала XX в., с другой стороны, Бахтин постулирует концепцию знака как общей и для психики и для идеологии формы действительности». «Переживание» — «внутренний знак», выражающий (а значит, «овнешняющий») себя не «в себе и для себя», а в «идеологическом материале», т. е. на границе **я** и **другого**, неповторимой «социальной ситуации» и повторимой «жанровой» ситуации. Наоборот, «идеология» — «внешний знак», т. е. не субстанция, а динамический предел самого переживания, или внутреннего знака, — предел, определяющий

границы «высказывания» изнутри (отсюда у Бахтина ранняя философская категория «другости» и более поздняя, литературоведческая и филологическая, категория «речевого жанра», «памяти жанра» и т. п.). В общемировоззренческом плане критика «экзистенциально-автологического» (термин М. Тениссена) взгляда на мир как на «трагедию культуры» существенно связана у Бахтина с его концепцией не-трагического катарсиса в романах Достоевского (ППД, 223). Отметим, наконец, появление на последней странице первой части МФЯ важнейшего бахтинского паратерминологического словосочетания: «ответное понимание»; ср.: «творческое понимание» (ЭСТ, 334) и т. п. Творческое «переживание», по Бахтину, переживает не себя (и, в этом смысле, не есть, вопреки популярным романтическим предрассудкам, само-переживание и само-выражение), но «другого»: «героя» переживания, а не «автора» его. Ср. определение переживания в работе «Автор и герой в эстетической деятельности» (1922—1923): «Переживание есть ценностная установка меня всего (выделено Бахтиным. — В. М.) по отношению к какому-нибудь предмету, моя «поза» при этой установке мне не дана» (ЭСТ, 99).

С. 50—52. Критика Бахтиным «двух направлений» в лингвистике и в философии языка первых десятилетий XX в. в обратном переводе на язык раннего метамировоззрения автора «Философии поступка» и работы «Автор и герой в эстетической деятельности» дает критику «гносеологизма всей философской культуры XIX и XX веков» (ЭСТ, 79). В частности и в особенности речь у Бахтина идет о преодолении двух типов мышления — романтического индивидуализма с его идеей «органической» целостности или «тотальности», с одной стороны, и классицистического (и неоклассицистического) не- (и анти-) индивидуализма и структурно-внеличного «порядка», с другой. Собственно в пространстве этого «двутелого тела смысла», в котором обе тенденции непримиримо противостоят друг другу и парадоксально «мирятся», переходя друг в друга во всех сферах современной культуры, от эстетики до политики, и располагается особый «метасюжет» бытия-события XX века. Отметим узловые моменты бахтинской критики за пределами лингвистики — там, где, по выражению М. Хайдеггера, «наука не мыслит».

1. Для исходной бахтинской концепции и оценки «современного кризиса» (ФП, 123) и «современного человека» (ФП, 96) существенно, что если на внешнем — риторическом — уровне «два направления» противостоят одно другому, то реально, конкретно-исторически само это противостояние — только маска более глубокого «микродиалога», в котором разные акценты, как в поэтике Достоевского, переходят друг в друга в самом отталкивании друг от друга: везде и в любом «синхроническом» разрезе Нового времени мы обнаружим «двутелое тело» смысла с нераздельными и неслиянными акцентами классицистической «структуры» и романтического «бунта» против нее с попыткой пробиться из нее в историю (короткое замыкание обеих тенденций породило и погубило и формализм, и структурализм, и неоструктуралистскую «деконструкцию»). Ведь обе противоположности — на метанаучном идеологическом уровне — это «близнецы-братья» как раз потому, что «тотальность» в смысле марксиста Г. Лукача ,«бытие» в смысле М. Хайдеггера, «кровь и почва» в смысле фашистских и националистических идеологий, «структура» в смысле «теоретического антигуманизма» марксиста Л. Альтуссера или К. Леви-Строса, «язык» в смысле позднего Хайдеггера и «тюрьма языка» в смысле деконструктивизма, и т. д. и т. п. — все это лишь обобщенные абстрактно-объективистские формы «индивидуалистического субъективизма», который в книге о Достоевском (1929) Бахтин обозначил термином «монологический идеологизм» и который «после Достоевского становится «достоевщиной»» (ЭСТ, 184).

2. В более узком плане — лингвистическом и литературоведческом — невозможность обоих научных направлений (абстракции «субъекта» и абстракции «объекта») выйти из дурного безысходного противостояния дает, по Бахтину, тип научно-теоретической практики и «делания вещи», согласно формалистической терминологии, который Бахтин и определил в 1924 году в качестве «материальной эстетики». В историко-культурном плане нелишне отметить, что в наиболее революционной, т. е. радикальной и примитивной, нигилистической форме «материальная эстетика» суть не западный импорт в Россию, а экспорт трансцедентальной совковости на Запад: См.: Cassidi S. Flight from Eden: The Origins of Modern Literary Criticism and Theory. Berkeley etc., 1990, pp. 121—132 (глава: «Роман Якобсон, или О том, как логология и мифология стали экспортом»); Broekman I. M. Structuralism: Moscow — Prague — Paris. Dordrecht — Boston, 1972.

3. Но самый важный пункт бахтинской критики это, как всегда у Бахтина, не то, что он отрицает, а то, что он солидарно (диалогически) утверждает и продолжает в оспариваемой точке зрения («общая территория»). «Индивидуалистический субъективизм» прав в том, что он утверждает единственный, уникальный смысл высказывания: это наследие немецкой гуманистической традиции, как отмечает Бахтин, оказалось не в моде в 20-е гг. и было в известном смысле сброшено с «корабля современности» в советской филологии и «молодой русской поэтике». С другой стороны, как мы неоднократно отмечали, «социологическая» — антииндивидуалистическая и антисубъективистская — тенденция в науке и в культуре 20-х годов тоже — «общая территория» между Бахтиным и его главными научными и идеологическими оппонентами; по Бахтину только, реальная, не-абстрактная объективность в понимании языка невозможна на почве «абстрактного объективизма», как объективное понимание «формы» в литературе и искусстве невозможно на почве «формального метода» — материальной эстетики.

С. 52. Выражение «фокус языкового процесса» в обратном переводе на язык «первой», или «нравственной» философии Бахтина соответствует понятию: «архитектоническое строение действительного мира-события» (ФП, 128).

С. 53. В постановке «проблемы выделения и ограничения языка как специфического предмета изучения» обращает на себя внимание чисто методическое — узнаваемо бахтинское — задание: понимание чего бы то ни было — от формальнейшего функционального элемента системы до так называемого «личного начала» — требует одновременного «выделения и ограничения» данного, подлежащего пониманию предмета. Противоположный способ разумения, связанный с «разрушением разума» в XX веке, фатально и комично «засветился» в постсовременных попытках истолковать тезис Бахтина о «равноправии» героя автору в произведениях Достоевского: выделение индивидуальной «свободы» было воспринято без ограничения, т. е. как «право на бесчестье», или на «достоевщину».

С. 80—89. Ср. характеристику абстрактного филологизма (формализма и антиисторизма) со сходной оценкой абстрактно-специализированного литературоведения, которое, как всякая «ложная наука, основанная на непережитом общении» (ЭСТ, 349), в сущности, не нуждается в живой индивидуальной форме художественного произведения: «Автор, создавая свое произведение, не предназначает его для литературоведа и не предполагает специфического литературоведческого п о н и м а н и я (выделено Бахтиным. — В. М.), не стремится создать коллектива литературоведов. Он не приглашает к своему пиршественному столу литературоведов» (ЭСТ, 367).

«Объективность», требование которой Бахтин противопоставляет «абстрактному объективизму», включает следующие узловые моменты: 1. «точка зрения говорящего», понятая, однако, ни только извне, ни только изнутри, а в качестве интенционально-предметного и, вместе с тем, конкретно «участного» — «исхождения из себя» (ФП, 127), т. е. на границе **я** и **другого**. 2. Этой «внешней» границе высказывания коррелятивна граница «внутренняя»: мое слово потому мое, что оно опирается на какую-то сознательную или бессознательную «другость», «жанр речи», «память жанра» и т. п. Этим преодолевается соссюровская абстрактно-объективистская оппозиция нормативного языка («langue») и индивидуального высказывания («parole»). Ср. в работе Бахтина начала 50-х гг. «Проблема жанров речи»: «Речевые жанры по сравнению с формами языка гораздо более изменчивы, гибки, пластичны, не создаются им, а даны ему. Поэтому единичное высказывание при всей его индивидуальности и творческом характере никак нельзя считать совершенно свободной комбинацией (выделено Бахтиным. — В. М.) форм языка, как это предполагает, например, де Соссюр (а за ним и многие другие лингвисты) (...) Соссюр игнорирует тот факт, что кроме форм языка существуют еще и **формы комбинаций** (выделено Бахтиным. — В. М.) этих форм, то есть игнорирует речевые жанры» (ЭСТ, 260). 3. «Контекст», понятый, опять-таки, не извне только (как завершенный) на границе контекстов; отсюда понятие «противостояния контекстов». Во всех трех моментах «диалогизм» противостоит «деконструкции» и «стиранию» автора высказывания, контекста высказывания и самого высказывания в неоструктуралистских антиисторических «развинчиваниях» текста и смысла. См. об этом, в частности: Michael Holquist, The Surd Heard: Bakhtin and Derrida. // Literature and History: Theoretical Problems and Russian Case Studies / Ed. by Gary Saul Morson. Stanford, 1986, pp. 137—156; Juliet Flower Mac Cannel, The Temporality of Textuality: Bakhtin and Derrida//«Modern Language Notes», № 100(5), 1985, pp. 968—987.

С. 91—118. То общее, что связывает как «немецкую» (абстрактный субъективизм), так и «французскую» (абстрактный объективизм) традиции в науке о языке. — это, как отмечает Бахтин, тот факт, что для обеих направлений «монологическое высказывание было последней реальностью» (в одном случае утверждаемой, в другом преодолеваемой). Бахтинское решение проблемы — тезис о «внутренней социальной аудитории» («территории») знака-высказывания, по отношению к которой всякое высказывание характеризуется «обращенностью» («исхождением из себя»). Подчеркивая это важнейшее свойство «диалогизма» во всех его аспектах, М. Холквист фиксирует, в частности, отличие бахтинской мысли от экзистенциалистского понимания человека и слова: «Обращенность (addressivity), свойственная любой экзистенции, не только и не просто указывает на **я**, как реальность сознания о чем-то; скорее сама экзистенция экзистенциальна в отношении чего-то иного — и только в этом отношении. Диалогизм не принимает хайдеггеровское (в конечном счете и всякое идеалистическое) разделение на бытие как таковое (das Sein) и конкретно сущее бытие (ein Seiende)». — Michael Holquist, Dialogism: Bakhtin and His World. London and New York, 1990, p. 48. Именно поэтому диалогизм не принимает романтическую концепцию слова как «сосуда внутреннего», «неизреченного»; не случайно современно-постсовременный деконструктивизм — только вывернутый наизнанку, «в конечном счете идеалистический», двойник романтического представления, классическим выражением которого является и цитируемая в МФЯ строка Ф. И. Тютчева: «Мысль изреченная есть ложь».

С. 114—115. Ср. анализ того же самого места из «Дневника писателя» Достоевского в книге Л. С. Выготского «Мышление и речь» (1934), в контексте «фундаментального различения диалогической и монологической форм речи»: Выготский Л. С. Собр. соч. в 6 тт. — Т. 2, М., 1982, с. 338—339.

С. 125. «Чужая речь» — металингвистическая форма перевода на язык лингвистики понятия «первой философии» и «эстетики словесного творчества» Бахтина — «другости». Ср. феноменологическое описание «лирической формы» в «Авторе и герое...»: «Лирика полна глубокого доверия, имманентизированного в ее могучей, авторитетной, любовно утверждающей форме, в авторе — носителе формального завершающего единства. Чтобы заставить свое переживание звучать лирически, нужно почувствовать в нем не свою одинокую ответственность, а свою природность ценностную, другого в себе, свою пассивность в возможном хоре других, хоре, со всех сторон обступившем меня и как бы заслонившем **непосредственную** (выделено Бахтиным. — В. М.) и неждущую заданность единого и единственного события бытия. Я еще не выступил из хора, как герой-протагонист его, еще несущий в себе хоровую ценностную оплотненность души — другости...» (ЭСТ, 148—149). С этим связана и поляризация (интенционализация) переживания-высказывания в плане двух его жизненных устремлений: «я-переживание» и «мы-переживание». То самое, что говорит Бахтин о «гордом одиночестве» как принципе самопереживания у Л. Толстого и у Р. Роллана (в одном случае — аристократически-барском, в другом — интеллигентском, «гениальном»), в различных вариациях («моя любовь к вариациям и к многообразию терминов к одному явлению», — скажет Бахтин в конце жизни: ЭСТ, 360) разрабатывается (или высказывается) на всех этапах творчества мыслителя: при выделении и ограничении «поэзии» (в узком смысле) по сравнению с возможностями «прозаической художественности» («Слово в романе», 1934—1935), в оценках неоромантизма и модернизма (культуравангарда) как монологизации и «жаргонизации» диалога (ср. замечание о М. Прусте и Д. Джойсе: М. М. Бахтин. Из черновых тетрадей. // «Литературная учеба», 1992, книга 5—6, с. 159) и т. д.

С. 131—134. Ср. совершенно аналогичные по сути и по материалу анализы в книге о Достоевском, в «Слове в романе», в статье «К предыстории романного слова» (1941) и в других работах «самого» Бахтина.

С. 148. Явление «речевой интерференции» — едва ли не центральное и в «металингвистике», и в «социологии сознаний», и в философской эстетике Бахтина. С одной стороны, сюда относятся анализы разложения «внутренне убедительного слова» романтизма, сентиментализма и реализма в произведениях Достоевского: от еще относительно примитивного сознания чиновника в «Бедных людях» и вплоть до сложной полифонической партитуры в «Братьях Карамазовых». С другой стороны, «речевая интерференция» связана с характеристикой и оценкой «гротескного канона» и «карнавального образа» как «двутелого тела» («социологический метод» без маски!), т. е. взаимоотношениям **я** и **другого** в событии бытия в условиях «моего не-алиби в бытии». Именно здесь сходятся такие, на первый взгляд, «далековатые» идеи Бахтина, как «полифонический роман» и «карнавальный хронотоп», Достоевский и Рабле; это — точки «входа» и «выхода», «начала» и «конца» — «всей идеологической культуры нового времени» (ППД, 106).

С. 173. Утверждение: «Нельзя изучать становление слова, отвлекаясь от становления истины и художественной правды в слове и от человеческого общества, для кого эта правда и истина существуют» обозначает, в обратном переводе, центральную категорию диалогизма Бахтина — категорию «причастности». Ср. аналогичный подход к преобразованию науки в плане преодоления «научной методики» и утверждения «гуманистической тра-

диции» в философской герменевтике Г.-Г. Гадамера: «Опыт исторической традиции принципиально возвышается над тем, что в ней может быть исследовано. Он является не только истинным или ложным в том отношении, которое подвластно исторической критике, — он всегда возвещает такую истину, к которой следует **приобщиться** (выделено в тексте. — В. М.)». — Г.-Г. Гадамер. Истина и метод. М., 1988, с. 40.

С. 173—174. Финальный пассаж МФЯ, посвященный «глубокой субъективизации идеологического слова-высказывания» и ее следствию—«овеществлению слова», «понижению тематизма слова» может вызвать, и не раз вызывал уже, недоумения и упреки в самопротиворечивости (например, в упоминавшейся выше вступительной стетье к немецкому переводу МФЯ С. Вебера). В действительности, однако, перед нами — одна из вариаций основного мотива критики Бахтиным современной ему культуры начала XX в., уже на самом деле уходящей, уже «рассекаемой» (С. Вебер), уже «раздираемой» (Бахтин) социальным разноречием и уже, как автор ППД и МФЯ, — «ликвидированной в даль» (выражение из платоновского «Котлована»). Вот узловые моменты этой культуркритики:

1. Идея «современного кризиса» (ФП, 123) как самозамыкания «соврекурсивных логик и практик и, как следствие — потеря **пограничных корреляций** во всех сферах культуры, потеря не только «эстетического телоса» (ВЛЭ, 20) в поэтике и теоретической эстетике, но и всякого телоса. Неизбежной корреляцией этого отсутствия пограничных корреляций и является «овеществление слова», т. е. замещение «участного» слова новым «теоретизмом» и новым «абстрактным объективизмом» во всех сферах культуры, от эстетики до политики. «Семиотический тоталитаризм» (Г. С. Морсон), как и всякий тоталитаризм, есть имманентная кара (судьба) за отсутствие «общей территории» в культуре и в жизни, за невозможность или нежелание вступать в диалог, договориться.

2. Идея утраты «заданности» (или «телоса») и, как следствие, — «методическое неразличение данного и заданного, бытия и долженствования. См. восстановленную купюру в издании «К философии поступка» (ФП, 96) об историческом материализме: Махлин В. Л. Михаил Бахтин: философия поступка», М., «Знание», 1990, с. 41. Этот момент — основополагающий не только для судеб «исторического материализма», но и для судеб всей «материальной эстетики» в XX веке.

3. Идея «кризиса авторства» (ЭСТ, 176). Этот момент обозначает оба предшествующих пункта, но в специальном плане теории и практики творчества в ситуации утраты авторитетной «другости».

4. Идея утраты «тела общения» в финале первого издания книги о Достоевском (1929), как «социологическая» характеристика и судьба русской интеллигенции. Ср. это с финальными главами статьи Г. П. Федотова «Трагедия интеллигенции» (1926), а также с диагнозами крушения марксизма как «интеллигентской веры» у П. И. Новгородцева («Об общественном идеале», 1917) и у Пауля Эрнста в Германии («Крах марксизма», 1919). Ср. из предисловия к первому изданию книги П. И. Новгородцева «Об общественном идеале» (помеченном 16 июля 1917 г.): «Общее значение происходящего кризиса я выразил в формуле крушения идеи земного рая, в соответствии с чем и общим выходом из этого кризиса я признал неизбежную замену конечного совершенства началом бесконечного совершенствования». См.: Новгородцев П. И. Об общественном идеале, М., 1991, с. 17.

5. Идея невозможности чистой пародии и откровенного смеха в Новое время, поскольку «новые языки» секуляризованной постсредневековой культуры «сами (...) в известной мере родились из пародии на священное слово» (ВЛЭ, 435). Ср.: М. М. Бахтин. Из черновых тетрадей. с. 161.

6. Идея, что отсутствие авторитетной «другости» в культуре ведет к утрате непосредственного «лица» слова и стиля и замещению их различного рода стилизациями и в особенности пародийными масками авторства. Именно в этой связи Бахтин во втором издании книги о Достоевском ссылается трижды на роман Т. Манна «Доктор Фаустус» (1947), в котором герой-рассказчик выступает как пародия на гуманистический стиль и мировоззрение автора романа, т. е. как его маска. В аспекте проблемы «овеществления слова» —оборотной стороны утраты само собой разумеющейся объективности — интересно сопоставить финальный пассаж МФЯ с музыкальными образами «овеществления» в произведении композитора Леверкюна «Апокалипсис с иллюстрациями» в упомянутом романе Т. Манна. См.: Томас Манн. Собр. соч. в 10 тт. — Т. 5. М., 1960, с. 486—487.

В. Л. Махлин

«БАХТИН под маской»
Выпуск 3.
Издательство «Лабиринт»

СОДЕРЖАНИЕ

В список опечаток в выпуске втором этой серии закралась опечатка. Вместо *в девяти томах* не следует читать ничего.

Заказ 1549 Объем 12 п. л. Тираж 5000

Обнинская городская типография
Упринформпечати Калужской администрации
г. Обнинск, ул. Комарова, 6.

Издательство „ЛАБИРИНТ"

БАХТИН ПОД МАСКОЙ

Вышли из печати:

1. В. Н. ВОЛОШИНОВ. Фрейдизм.

2. П. Н. МЕДВЕДЕВ. Формальный метод в литературоведении.

3. В. Н. ВОЛОШИНОВ. Марксизм и философия языка.

Выходят в свет:

4. М. М. БАХТИН. Проблемы творчества Достоевского.

5. Бахтин: маски и лица. (Статьи В. ВОЛОШИНОВА, П. МЕДВЕДЕВА, И. КАНАЕВА. Итоги серии).

В серии Ex libris Apocryphi
готовятся к печати:

О. РОЗЕНШТОК-ХЮССИ. Язык и реальность.

Э. ГУССЕРЛЬ. Идеи к чистой феноменологии.

М. МАМАРДАШВИЛИ. Классический и неклассический идеалы рациональности.